

Эдуард
ТОПОЛЬ



*Юность
Жаботинского*

Бестселлеры Эдуарда Тополя

Эдуард Тополь

Юность Жаботинского

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Тополь Э. В.

Юность Жаботинского / Э. В. Тополь — «Издательство АСТ»,
2019 — (Бестселлеры Эдуарда Тополя)

ISBN 978-5-17-114777-8

Его называли еврейским Гарибальди, пророком, будущим соколом русской литературы, а также «Владимиром Гитлером», ревизионистом, беспочвенным мечтателем и т.д. А он стал одним из основных создателей Государства Израиль и его армии. Исторический роман «Юность Жаботинского» рассказывает о ярком конфликте любви и вождения с призванием и миссией, о юноше, который в двадцатилетнем возрасте решил повернуть вспять весь ход мировой истории, вернуть в Палестину миллионы евреев и возродить еврейское государство Эрэц-Израиль...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114777-8

© Тополь Э. В., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	8
1	8
2	12
3	15
4	18
5	20
6	23
7	27
8	30
9	34
10	38
11	40
12	42
13	43
14	45
15	48
16	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Эдуард Тополь

Юность Жаботинского

*Посвящаю Алле – жене, любимой, солнечной...
И памяти моих родителей*

«Правда – это не то, что было или чего не было. Правда есть то, что останется в людской памяти навсегда... это и назовут люди правдой, а все остальное – дым...»

Если уж выбирать между “действительностью” и легендой, то лучше верить в легенду».

Владимир Жаботинский

«В основе моего дружеского отношения к Жабо (так мы его звали) лежал глубокий пиетет перед его личностью, его талантами, широчайшими познаниями в истории и судьбах мира».

Вера Вейцман

«Невозможно найти человека, подобного Жаботинскому. Жизнь его была еще более необычной, чем созданные о нем легенды. Понятие “Жаботинский” – неповторимое и единственное в своем роде в истории еврейского народа».

Анатоль де Монзи, французский политик и писатель

Жизнь и деятельность Зеэва Жаботинского изменили историю еврейского народа...

В истории человечества насчитывается немного личностей, победа которых столь редка, ясна и чудесна. Для нас Жаботинский является наставником, носителем нашей мечты. Мы связаны на духовном уровне. Мы никогда не думали, что он может умереть, поэтому мы с легкостью можем сказать, что Жаботинский жив в наших сердцах. В самые тяжелые и великие моменты борьбы за создание государства мы не прекращали спрашивать себя, как в такой ситуации поступил бы Зеэв Жаботинский, какое бы решение принял.

Не только для нас, но для всего еврейского народа, проживающего на Родине и за ее пределами, двенадцатое число еврейского месяца хешвана, дня рождения Жаботинского, является днем духовного подъема, возобновления веры, днем клятвенного обещания идти его дорогой. До конца наших дней мы не прекратим ни на секунду пытаться реализовать его государственную и социальную доктрину.

Зеэв Жаботинский жив!

Менахем БЕГИН,

премьер-министр Израиля (1977–1983), лауреат Нобелевской премии, в 1940-х годах руководитель еврейской подпольной организации «Иргун»

Предисловие

Назовите меня снобом, киноманом, да кем вам угодно, но, переехав в 2017 году на ПМЖ в Израиль, я вместо телевизора оборудовал у себя в гостиной домашний кинотеатр. И теперь, когда выпадает свободный вечер, мы с женой ищем в Интернете какой-нибудь замечательный фильм, скажем, «Бумажную луну» Питера Богдановича, «Выпускник» с юным Дастином Хофманом или «Полночь в Париже» Вуди Аллена. И – вся стена нашей квартиры исчезает, открывая волшебный мир прошлого века, совсем, возможно, не такой, каким он был на самом деле...

Я не знаю, любите ли вы кино – настоящее, старое. Но с тех пор, как братья Люмьер с такой же стены, как у меня в квартире, пустили на зрителя паровоз, человечество получило столь высокое кинематографическое образование, что каждый, даже моя кошка, которая посмотрела с нами уже сотню фильмов, может сам поставить кинофильм...

И потому я приглашаю вас нырнуть со мной в прошлое, в самое начало двадцатого века, в раннее утро на рейде черноморского порта Одесса. Один замечательный писатель сказал по этому поводу:

«Если бы можно было, я бы хотел подъехать (к Одессе) на пароходе, летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще не потух маяк на Большом фонтане, и один-единешенек на палубе смотрел бы на берег. Берег еще сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы видны те две краски – красно-желтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Я бы старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Аркадия, Малый, потом Ланжерон, а за ним парк – кажется, с моря видна издали черная колонна Александра Второго. То есть ее, вероятно, теперь уже сняли, но я говорю о старой Одессе.

Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брекватер¹, а это волнорез (никто из горожан не знал разницы, а я знал), Карантин и за ним кусочек эстакады – мы на Карантин и плывем, а те молы, что справа, поменьше, те для своих, отечественных парходиков и еще больше для парусных дубков и просто шаланд и баркасов... В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей, потом стало жиже, много жиже, но я хочу так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песню человечества: сто языков... Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара – не помню, видать ли их с моря за кленами бульвара, но последний справа, наверное, видать, Воронцовский дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней, второй такой нет, кажется, на свете... И над лестницей каменный Дюк – протянул руку... “Еще невнятное пророчество рассвета, смарагд и сердолик, сирень и синева...”»

Чьи эти стихи?

И стихи, и вся эта цитата – несбывшаяся мечта Владимира Жаботинского, писателя и отца-основателя государства Израиль.

Но разве ты, читатель, уже не увидел на своем мысленном экране и этот кораблик на рейде, и одинокую мужскую фигуру у него на носу, и раннее утро, и выплывающую из тумана Одессу его, Жаботинского, детства? «Еще невнятное пророчество рассвета, смарагд и сердолик, сирень и синева...»

И разве великий Жабо не заслужил у нас, евреев, которым после двух тысяч лет изгнания он помог вернуть свое государство, и у русских, которым он подарил свои прекрасные стихи,

¹ Брекватер – насыпь, плотина, запруда в море для удержания напора волн на гавань.

пьесы и книги, – разве не заслужил он, чтобы если не в жизни, то хотя бы в кино сбылась его мечта?

«Вот я бреду по улицам моего города... – грезил он в своем романе “Пятеро”. – Первый налетел на меня вислоухий ротозей с вытаращенными глазами... На следующем углу опять стоит молодцеватый студент в папахе и “правит движением”, а сам пьян. Зачем правит движением? Так: взбрело на ум, подвернулся угол без городского, а извозчиков со всех сторон масса... На третьем углу, не благоволя меня заметить, прошла, брезгливо сторонясь, холодная синеглазая красавица в наряде богатой и утонченной содержанки – а я знаю, что под бархатом на ней жесткая власяница и еще пояс из колючей проволоки. Если бы царапнуть ее и попробовать языком вкус кровинки – обожжет купоросом...»

С Марусей не на улице будет у меня свидание, мы сговорились встретиться у меня в Лукании...

А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами, слышится только что отзвучавшая музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют, и опять все будет, как тогда в нашу безбрачную ночь, только говорить надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудное слово “ласка”. Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов или музыка – все ласка. И Бог, если добраться до него, растолкать, разбудить, разбранить последними словами за все, что натворил, а потом помириться и прижать лицо к его коленям, – он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется женщина».

...Что ж, если по самообразованию все мы кинематографисты, то вот вам и фильм, и повесть, и легенда, и сон – юность и любовь Владимира Жаботинского, рискованно смонтированные мной из его жизни, романов и журналистских публикаций.

Часть первая

«Прекрасный росток человеческий»

Лучше Маруси я не встречал девушек на свете. Не могу ее забыть, уже меня упрекали, что во всех моих, между делом, налетах в беллетристику так или иначе всегда выступает она, ее нрав, ее безбожные правила сердечной жизни, ее красные волосы. Ничего не могу поделать...

Владимир Жаботинский

1

Премьера

В первый раз он увидел ее в пятницу, одиннадцатого октября 1902 года, в Одесском городском театре на первом представлении пьесы Метерлинка «Монна Ванна». В те годы Морис Метерлинк был самым знаменитым европейским драматургом, его называли бельгийским Шекспиром, его пьесы шли во всех мировых столицах, а право первой постановки «Монны Ванны» он передал Константину Станиславскому. И потому Одесса, которая претендовала на звание южной столицы Российской империи, была так ажиотирована предстоящей премьерой, что газета «Одесские новости» объявила: «В пятницу в Городском театре состоится первое представление прошумевшей новинки Метерлинка “Монна Ванна”. Вчера открылась продажа билетов на этот спектакль, и ввиду большого спроса решено поставить пьесу и в субботу».

Поскольку треть населения Одессы составляли евреи, первое представление собрало весь еврейский бомонд, и Городской театр со зрительным залом на 1590 мест был переполнен. Хотя по количеству золота в лепных украшениях пятиярусного зрительного зала театр спорил с миланской «Ла Скала» и парижской «Гранд-опера», трудно сказать, где в этот вечер золота было больше – на лепнине стен и потолка или в сотуарах², колье и подвесках зрительниц. А огромная бронзовая люстра с хрусталем и первыми в Одессе электрическими лампочками, ради которых неподалеку от театра была построена электростанция переменного тока, – эта двухтонная люстра блекла от зависти, глядя сверху на радужное сияние бриллиантов в ложах и партере.

К сожалению, сам мсье Метерлинк на премьеру не приехал, иначе бы он, автор мирового бестселлера «Жизнь пчел», по достоинству оценил терпкость парфюма, стоявшую в зальной атмосфере. Впрочем, среди достоинств театра, построенного всего четыре года назад, одесский путеводитель начала XX века упоминает прекрасное отопление и летнюю вентиляцию. «Наружный воздух пропускается мимо парусов, обдаваемых водой, которая в знойные дни охлаждается льдом, и затем, посредством нагнетательного вентилятора, приводимого в движение паровой машиной, воздух очищенный и согретый зимою или охлажденный летом, распространяется равномерно по всему театру».

Владимир Жаботинский, известный в городе по его газетному псевдониму «Альталена», – через неделю ему будет 22 года, но выглядит он на 17, не больше — невысокий темноглазый брюнет с черным чубом над лобастым мальчишеским лицом, с упрямым подбородком и чуть

² Сотуар – женское украшение в виде удлиненного ожерелья с кулоном.

оттопыренной, для важности, нижней губой (что только подчеркивало детское впечатление от всего его облика) – сидел в начале пятого ряда партера, в кресле, обшитом, как и все остальные здешние кресла, красным бархатом. Но главным отличием этого кресла была украшавшая его спинку табличка с гравированной надписью «Г-н Альталена», что свидетельствовало сразу о двух ипостасях его владельца: во-первых, репутации самого популярного одесского журналиста, и, во-вторых, драматурга, чья первая пьеса «Кровь» шла в этом театре год назад, а вторая – «Ладно» готовилась тут к постановке. Рядом с ним сидели его коллеги по газете «Одесские новости»: двадцатилетний голубоглазый, усатый и кудрявый блондин Лазарь Кармен, бытописатель портовых босяков и гольтубы, которого Жаботинский считал талантливей Максима Горького, и двадцатилетний долговязый Николай Корнейчуков, он же – по отцу – Левенсон, он же будущий классик детской литературы Корней Чуковский. А чуть наискось от них, во втором ряду, за взбитыми дамскими прическами и аккуратно подстриженными мужскими затылками, был виден четкий семитский профиль тридцатипятилетнего Израиля Моисеевича Хейфеца, главного редактора «Одесских новостей».

Когда в оркестровой яме музыканты уже заканчивали разноголосую настройку своих инструментов и мужчины в зрительном зале откашливались, отсморкались, раскланялись друг с другом, а дамы ревниво насмотрелись на чужие наряды и драгоценности, Лазарь Кармен вдруг повернулся к Жаботинскому и негромко сказал:

– Жабо, посмотри вправо, на ту рыжую евреечку в третьей ложе: как котенок в муфте!

Действительно, неподалеку от их кресел, в третьей ложе бенуара, своей рыже-огненной прической и схожестью с котенком на конфетной коробке фабрики «Жорж Бормань» выделялась юная красавица с округлым личиком и дерзкими серо-зелеными глазами. Рядом с ней сидела не менее красивая моложавая дама лет тридцати семи – сорока. Повернувшись к своей дочке, эта дама показала ей взглядом на Жаботинского и сказала (это можно было понять по губам): «Смотри, Альталена!» А рыжая барышня сделала большие глаза и ответила (это было тоже ясно по ее губам): «Неужели? Не может быть!»

Владимир, еще больше выпятив презрительную губу, тут же отвернулся, но что-то в зеленых фаянсовых глазах этой барышни, столь странных на ее круглом еврейском личике, уже ознобило его душу и легким ударом покачнуло сердце.

Впрочем, в этот момент девятиметровая электрическая люстра под расписным потолком стала медленно гаснуть, великолепный тяжелый бордово-красный и весь вытканый серебром и золотом сценический занавес пошел вверх, и спектакль начался, стусевав ошеломительный укол острых глаз рыжей красотки. Магическое действие драмы Метерлинка захватило сцену и зал:

<Юная, но бедная красавица-венецианка Джованна (актриса Анна Пасхалова) выходит замуж за Гвидо, командира гарнизона итальянской Пизы, презревшего все грязные слухи о своей избраннице.

<Флорентийские войска под водительством генерала Принцивалле осаждают Пизу, горожане бедствуют и умирают от голода.

<Марко, отец Гвидо, отправляется на переговоры с флорентийцами и возвращается с неожиданным ответом: Принцивалле снимет осаду и даже пришлет Пизе продукты, если Джованна придет к нему «ню» и проведет с ним ночь.

<Гвидо в бешенстве, но Джованна считает своим долгом спасти город, пусть даже и ценой своего позора. Легким плащом прикрыв свою прекрасную наготу, она отправляется в стан флорентийцев.

<Там, во время ее ночного, в палатке, разговора с Принцивалле выясняется, что он друг ее детства и боготворит Ванну еще с тех далеких

времен. Теперь, когда мечта всей его жизни сама пришла к нему, он готов ради нее оставить свое войско и перейти на сторону Пизы.

<Вдвоем они приходят в Пизу, горожане восторженно встречают свою спасительницу, однако Гвидо не верит, будто Принцивалле так возвышенно любит Джованну, что и пальцем ее не тронул. Гвидо арестовывает Принцивалле, заточает его в подземелье и приказывает сжечь на костре.

<Джованна добывает ключ от подземелья, спасает Принцивалле и свой город...

Красавица Пасхалова идеально подходила на роль Джованны, она была талантливой актрисой с каким-то вулканическим внутренним огнем, который сражал любого мужчину и на сцене, и в зале. Причем сражал не только в переносном, но и в буквальном смысле – три года назад, в 1899 году, ее бывший муж застрелил известного киевского актера Николая Рошина-Инсарова только потому, что, по слухам, тот посмел ухаживать за Анной.

Остальные участники спектакля были не менее хороши, и, как говорят в Одессе, зрители имели свое удовольствие.

Во втором антракте, когда отшумели аплодисменты, Жаботинский пошел на галерку повидаться с приятелями-студентами и при выходе из партера в густом потоке зрителей столкнулся с еще одним коллегой по «Одесским новостям»: Лео Тречек, худощавый король одесской криминальной хроники, лихорадочно взмолился:

– Жабо, вы всё тут знаете, где экстренный выход?

– А что случилось?

– Ложа генерала Протопопова пуста! А он фанат Пасхаловой!

– И что?

– Вы не понимаете? Он начальник штаба округа! Значит, что-то случилось! Я обязан узнать...

Владимир показал ему задрапированную красным бархатом дверь в служебный коридор, а затем, поднимаясь по мраморной лестнице навстречу разряженной публике из лож второго и третьего ярусов, услышал их разговоры:

– Скука ужасная! Старик Марко приходит на переговоры к врагу и полчаса говорит с ним о Гомере, Платоне и каком-то Гесиоде!

– Этот Принцивалле, вообще, мужик? Требуется, чтоб она явилась голой, а когда она приходит, не дает ей раздеться!

Возможно, Жабо и не запомнил бы эти реплики, если бы на галерке обсуждение пьесы не продолжалось еще яростней. Галерка в Одесском театре (как, впрочем, и в других) была царством студентов, поэтому там всегда дежурили пара городских и местный надзиратель – благообразный богатырь с густой бородой на груди. Когда студенты буянили, возмущаясь певцом или певицей, «пускавшими петуха», городские выводили буянов за локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: «Пожалуйте, господин студент, как же так можно...»

В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к постановке «Монны Ванны» и вложили в эту пьесу революционный смысл (тогда выражались «освободительный», слово «революция» цензоры в прессу не допускали). Представление оправдало все ожидания. В Пасхалову все были тогда влюблены: половина барышень в городе подражали ее голосу и подавали знакомым руку, не сгибая, ладонью вниз, как она. «Фойе» галерки, куда поднялся Жаботинский, теперь напоминало шумный форум: всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же – мыслимая ли вещь, чтобы Принцивалле просидел с Монной Ванной целую ночь и не протянул к ней даже руки?

Об этом шумели студенты и в той группе, где Жаботинский нашел своих приятелей, и в соседней толпе, особенно многолюдной. А в центре той толпы стояла та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого роста, но сложена прекрасно по сдобному

вкусу того полнокровного времени, на ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но без «чашек» на груди, что в ту пору считалось новшеством нескромным, и рукава буфами не доходили даже до локтей, тоже по-тогдашнему дерзость. В довершение этого внешнего впечатления до Жаботинского донеслись такие отрывки тамошнего разговора:

– Но мыслимо ли, – горячился студент, – чтобы Принцивалле...

– Ужас! – низким голосом воскликнула рыжая барышня. – Я бы на месте Монны Ванны никогда этого не допустила. Такой балда!

Окружающие засмеялись, а один из них возликовал:

– Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать хочется...

– Подумаешь... – равнодушно отозвалась Маруся. – И так скоро не останется на Дерiba-совской ни одного студента, который мог бы похвастаться, что никогда со мной не целовался.

К удивлению Жаботинского, эта фраза клинком врезалась в его душу, и даже не столько сама фраза, сколько грудной низкий голос, ее произнесший. От общего вида этой Маруси и ее голоса его разом накрыло жаркой волной вожделения так, что ноги обмякли в коленях, дыхание пресеклось, а на руках и животе появилась «гусиная кожа». При этом он все же вытянул шею, чтоб услышать продолжение их разговора, но громкие колокольчики капельдинеров уже позвали публику в зал, студенты двинулись на свои галерки, и больше Жаботинский ничего не расслышал.

Весь третий акт он просидел в своем именном кресле, оглушенный сразу двумя изумлениями: волной вожделения, которое сводило колени и знобило дыхание, и потрясением от того, что он – интеллектуал, полиглот, вундеркинд, знаток Ницше, Спинозы, Герцля, Пинскера, Мицкевича, Уайльда и еще дюжины лучших философов и писателей, – он, *Альталена*, может вот так легко, с первого взгляда поддаться этому физическому чувству. Ведь он не мальчик, были в Италии и у него романы. Но тут было что-то другое – новое, пронзительное...

Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго актов партер и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и только по ее сигналу начали бурно хлопать, но теперь сами своевольно загремели и ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь состав, потом Монна Ванна с Принцивалле, потом Монна Ванна одна. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота – замолчала с обеих сторон боковая галерка: знак того, что готовится высшая мера триумфа – студенты ринутся в партер. И через секунду по всем проходам хлынули вперед синие сюртуки и серые тужурки. Впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный грузин, с выражением лица деловым и грозным, словно на баррикаду. Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, с уверенным достоинством трижды отчетливо ударил в ладоши («словно султан, вызывающий из-за решетки прекрасную Зюлейку», было на следующий день сказано в одной из газет). И только тогда, в ответ на повелительный зов «падишаха», вышла из-за кулис прекрасная шатенка Пасхалова, даже из пятого ряда было видно, как у нее дрожат губы и спазмы счастливых рыданий подкатывают к горлу.

В зале стояла неопишуемая буря. Два капельдинера выбежали из-за кулис убирать корзины с цветами, чтобы очистить поле для того, что тогда считалось дороже цветов: на сцену полетели мятые, выцветшие, с облупленными козырьками голубые студенческие фуражки.

Жаботинский оглянулся на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не на сцену, а на студентов, дергала мать и, называя имена, показывала ей своих друзей в толпе – до двадцати, а то и больше, пока не пополз с потолка театральный занавес.

2

Кофейня Амбарзаки

– Но, господа, позволено ль / С вином равнять do-re-mi-sol? – дурачась на ходу, вопрошал после спектакля Лазарь Кармен.

– А сколько там очарований? – тут же подхватил долговязый Чуковский.

– А разыскательный лорнет? – продолжал Жаботинский.

– А закулисные свиданья? – не уступал Кармен.

– А prima donna? А балет? – демонстративно бравировал Жаботинский, хотя в душе нес, как видение, ту сдобную красавицу с серо-зелеными глазами и томно-сексуальным голосом.

– А ложа, где, красой блистая, / Негоцианка молодая, / Самолюбива и томна, / Толпой рабов окружена? – спросил Чуковский, нечаянно попав пушкинским стихом в мысли своего приятеля.

– Она и внемлет и не внемлет, – продолжал Кармен. – И каватине, и мольбам, / И шутке с лестью пополам...

Так, перебрасываясь, как мячом, строками пушкинского «Онегина», друзья свернули с Ришельевской улицы на Греческую, где даже в это позднее время немыслимо пахло смесью акации и свежемолотого кофе.

– Но поздно. Тихо спит Одесса, / И бездыханна и тепла / Немая ночь...

– Луна взошла, / Прозрачно-легкая завеса / Объемлет небо...

– Всё молчит, / Лишь море Черное шумит...

Тут, дойдя до Преображенской улицы, друзья вошли в кофейню Амбарзаки, и лица всех сидящих за столиками разом повернулись к ним, и шепот: «Альталена!.. Кармен... Чуковский... Какие молодые!..» волной покатило от передних столиков внутрь полутемного зала, освещенного притененными новомодными электрическими светильниками.

Подкручивая кончики своих желтых усов, Лазарь Кармен величаво последовал за услужливым половым к свободному столику у стены, за ним, выпячивая, в знак равнодушия, нижнюю губу, шел Жаботинский, а следом, спотыкаясь от чрезмерной скромности, двигался сутуло-долговязый Чуковский, про которого Жаботинский еще в школьные годы писал: «Чуковский Корней, таланта хваленного, в два раза длинней столба телефонного».

Друзья заказали знаменитый «кофе по-гречески» (здесь его не варили, а по особому рецепту Константина Амбарзаки «пекли» на раскаленном песке в крошечных турках) и, отвернувшись от зала, приступили к обсуждению спектакля. Впрочем, не самого спектакля и даже не пьесы – и то и другое было великолепно, тут у друзей было единство мнений, – а того, кто из них и как напишет об этом в газете.

– Я писать не буду, не моя территория, – заявил Кармен. Знаток одесского дна, он никогда не вторгался в другие темы, его в Одессе и так все любили, особенно из простонародья. Молдаванка и Пересыпь на его рассказах учились читать, а в этой кофейне как-то раз подошла к нему молоденькая кельнерша, расплакалась и сказала: «Мусью, як вы щиро учера написали за «Анютку-Божемой»...

– А я бы написал, – сказал Чуковский, – но вы же видели – там был Хейфец! Он напишет как минимум пять «подвалов»!..

«Подвалами» журналисты называли нижнюю треть газетной страницы. Израиль Хейфец, главный редактор «Одесских новостей», был известен тем, что своим красным карандашом мог любую чужую статью безжалостно сократить до размера трехстрочной заметки, но если сам брался за перо, то меньше, чем на три «подвала», никогда не писал. Впрочем, этим правом «главного» Хейфец не злоупотреблял, писал редко и только о самых серьезных событиях и на самые важные темы. Премьера спектакля по пьесе «бельгийского Шекспира» была

именно таким выдающимся событием, и «право первой ночи» Хейфеца на «Монну Ванну» было неоспоримо.

– И еще он сделает доклад в «Литературке», – продолжал Корней и спросил у Жаботинского: – Будешь оппонировать?

«Литературка», а точнее, собрания Одесского литературно-художественного общества проходили по четвергам в бывшем дворце князей Гагариных близ Городского театра и были самым модным собранием одесской интеллектуальной элиты, там выступали даже такие приезжие знаменитости, как Ференц Лист, Генри Лонгфелло, Константин Бальмонт и Александр Куприн.

– Что? – занятый своими мыслями, переспросил Жаботинский.

– Хейфец заявлен с докладом о «Монне Ванне» на четверг в «Литературке», – повторил Чуковский. – Будешь ему оппонировать?

– Не знаю... – уклонился от ответа Жаботинский.

– Я знаю, о чем он думает, – подмигнул Чуковскому Кармен и в упор спросил у Владимира: – Так что, мой друг, вы скажете о «котёнке в муфте»? Я видел, как в третьем акте вы ели ее глазами.

Жаботинский сделал изумленное лицо:

– Я ел глазами?

– И еще как! – поддержал Чуковский Кармена.

– Впрочем, она того стоит, – покручивая ус, заявил Лазарь тоном опытного жуира. – Будь я холост да помоложе...

– А я, будь постарше... – снова поддержал его Чуковский.

– Ладно, хватит вам! – понял наконец их игру Жаботинский. – Простая еврейская барышня...

– Ой ли? – усмехнулся Кармен. – Нет, мой друг, не простая. Кстати, ее отец крупный хлеботорговец, его фамилия Мильгром. А ее зовут Мириам.

– Нет, ее зовут Марусей, – возразил Жаботинский.

– Это теперь мода такая – переделывать еврейские имена на русские, – пояснил Кармен. – Ассимиляция! Ее отец был Ициком, а стал Игнац.

– Так ты будешь писать про «Монну Ванну»? – снова спросил у Жаботинского Чуковский.

– Я уже пишу, – улыбнулся Владимир. И объяснил: – Я обещал Хейфецу сто строк в номер.

– Так что же вы сидите? – удивился Кармен и за цепочку достал из-за пояса свои часы-луковицу. – Сорок минут до сдачи номера цензору...

– Кофе, господа, – перебила его крутобедрая хохлушка-официантка и, опершись своей тяжелой грудью на высокое плечо Чуковского, поставила на столик поднос с блюдцем сирского рахат-лукума и чашками ароматного кофе, украшенными высокими кофейными пенками, «коньком» кофейни Амбарзаки.

В этот момент в кафе вихрем ворвался Лео Тречек. Зыркнув острыми глазками по сторонам, он разом углядел своих коллег и подбежал к ним, на ходу притянув за собой чей-то свободный по соседству стул.

– Вот вы где! Я так и знал! – плюхнулся он за стол и тут же наклонился вперед, чтобы слышно было только его друзьям: – Сенсация! Кошмар! С начала будущего года в Одессе, при Пятнадцатой пехотной дивизии, будет сформирована особая пулеметная рота! – и, нервно закуривая папиросу, спросил: – Вы понимаете, что это значит?

Влюбленный в свое ремесло и раздувающий каждую новость до патетики греческой трагедии, Тречек умел даже небольшой пожар в керосиновой лавке на Молдаванке описать как гибель Помпеи, а потому друзья спокойно ждали продолжения. Оно тут же последовало.

– Как вы не понимаете?! – тихо воскликнул Трецек. – Летом была жуткая засуха и ужасный неурожай! Теперь в Полтавской и Харьковской губерниях голодные крестьяне грабят помещиков и жгут их усадьбы. Царь трусит и готовится к революции. Сегодня для пробы стреляли из пулеметов с парохода «Днестр»! Трек стоял до Ланжерона! Есть сведения, что царь хочет у Дании закупать новейшие пулеметы «Madsen».

– Ну, это с легкой руки его вдовствующей матушки, – сказал Кармен. – Она же бывшая датская принцесса.

– И к нам снова назначен командующим Одесского военного округа генерал-адъютант Мусин-Пушкин, – сообщил Трецек. – Оксана! – позвал он официантку. – Сделай мне двойную турку!

– Ладно, друзья, – допив свой кофе, поднялся Жаботинский. – Я пошел в редакцию. – И двинулся к выходу.

Кармен снова посмотрел на свои часы.

– Шесть минут до редакции. Шесть – Хейфецу на прочтение. Как можно за двадцать минут написать сто строк?

– Гений, – глядя вслед Жаботинскому, объяснил Чуковский.

3

Газета «Одесские новости», 12 октября 1902 года

ВСКОЛЬЗЬ

О «МОННЕ ВАННЕ»

В четверг, после дождичка, здравомыслящие люди разделали «Монну Ванну» под орех.

Но рассмотрим подробней обвинительный акт. Он приписывает пьесе пять абсурдов. Вот первый.

В Пизе голод, и Пиза осаждена войсками Принцивалле. Пизанцы посылают старого Марко для переговоров. Марко идет к Принцивалле, лютому врагу пизанцев. И... заводит с ним беседу о Гомере, Гесиоде и Платоне.

– Как Марко мог беседовать с врагом своей родины о Гесиоде?

Был у меня знакомый, очень интеллигентный господин. В банке, где он работал, вышла растрата – и моего знакомого повезли к судебному следователю. Улик было много. Но мой приятель вдруг увидел у следователя на стене гравюру с картины Беклина и засмотрелся на нее.

– Знакома вам эта картина? – спросил следователь.

– Знакома. Но я не могу понять, в чем, собственно, здесь выразилась «Лесная тишь»?

– Как?! – схватился следователь. – Да неужели вы не чувствуете...

– Битый час спорили! – рассказывал мне потом мой знакомый...

Абсурд второй.

Монна Ванна идеально чиста душой. Принцивалле заставляет ее прийти к нему в неприличном виде. После этого ей нельзя не возненавидеть Принцивалле. Вместо того она в него влюбляется.

– Почему Монна Ванна полюбила своего оскорбителя?

Ванна прикрыла свое обнаженное тело плащом и пошла на позор.

Ничего кроме позора она не ждала и к позору была готова беспрекословно.

И вот она в палатке, во власти врага.

– Вы обнажены под этим плащом? – спрашивает он.

Она не отвечает, она прямо хочет сбросить плащ.

Но он ее останавливает.

Она пришла, готовая к тому, чтобы чужой человек грубо наложил на нее свои грубые руки.

Этот чужой человек нежно и благоговейно говорит ей о далеком детстве.

Она в его власти, а он ее не трогает. Он рассказывает, что любил ее в детстве и любит до сих пор. И когда она у него спрашивает:

– Из любви ко мне вы предаете Флоренцию?

Он говорит:

– Я не хочу подкупать вас ложью, Ванна. Я все равно должен был бы стать врагом Флоренции.

Прийти к чудовищу – и вместо чудовища встретить забытого друга детских игр, по сей день верного и влюбленного, не дерзающего прикоснуться к руке женщины, которая в его власти, благородного и искреннего... а господин оратор возмущается:

– Почему она его не возненавидела? Не понимаю.

У меня был в гимназии учитель-грек, который заставлял переводить а *livre ouvert*, сразу и живьем, без словаря.

Я возмущался и говорил:

– Не понимаю!

А грек ставил мне кол и резонно отвечал:

– А ты, брат, поучись, тогда будешь понимать...

Абсурд третий.

Гвидо, муж Ванны, не может ее удержать от самопожертвования и похода к флорентийцам, она уходит к Принцивалле. Гвидо остается дома рогатым и посрамленным.

Отчего же он не убивает себя? Мыслимо ли, чтобы человек в его положении, да еще храбрый солдат, спокойно ждал возвращения обещенной жены?

Берем текст пьесы. Третье действие, явление первое. Говорит Гвидо:

– Один человек отнял у меня Джованну. Она не моя, пока жив тот человек.

Еще в детстве фрейлейн рассказала мне, что бывают случаи, когда люди остаются жить ради мести. Не смею рекомендовать никому взять себе снова гувернантку, но все-таки не могу опять не вспомнить резонного совета моего гимназического грека...

Абсурд четвертый.

Монна Ванна возвращается. И народ Пизы ей рукоплещет. Мыслимо ли это? Естественно, что чернь поклонилась ей за ее подвиг. Но за такой подвиг не аплодируют и не встречают ликованием. За такой подвиг снимают шляпы и молча пропускают героя мимо.

– Отчего толпа рукоплещет Монне Ванне, а не встречает ее благоговейным молчанием?

Действие третье, явление второе: Монна Ванна, входя, бросается в объятия Марко:

– Отец мой, я счастлива!

Монна Ванна была счастлива.

– Вот она идет и улыбается, – говорит лейтенант Борсо, глядя из окна на ее шествие.

Население тоже было счастливо, но если бы Ванна вернулась с низко опущенным лицом, печальная и бледная, пизанцы не стали бы вокруг нее ликовать и вопить:

– Слава Монне Ванне!

Но Монна Ванна вернулась ликующая и радостная, с поднятой головой и с улыбкой на лице. И не было никакого диссонанса в том, что ее, счастливую, счастливая и спасенная ею чернь встретила кликами восторга...

Абсурд пятый.

Принцивалле потребовал от Монны Ванны неслыханного унижения. Любит он ее или не любит, но он – дикарь и варвар. И вдруг он оказывается поклонником Платона и Гомера. И ведет с Ванной у себя в палатке целомудренные беседы.

– Несовместимые противоречия в характере Принцивалле!

Перечитайте «Братьев Карамазовых». Там Дмитрий рассказывает такую же историю. Он потребовал, чтобы невинная молодая девушка пришла одна

к нему, завязтому гуляке и распутнику, за деньгами, нужными для спасения чести ее отца.

Она пришла.

У Дмитрия были сначала самые поганые намерения. Но, когда она пришла, он дал ей деньги, отворил двери и выпустил ее «так», даже не прикоснувшись.

Между прочим – возвращаюсь к абсурду № 2, – эта девушка потом тоже полюбила своего Принцивалле...

Этакий скверный психолог был Достоевский...

Альталена

4

Трудно сказать, прочла ли «рыжая барышня невысокого роста и прекрасного сложения» фельетон, на который вдохновила Альталену своей провокативной репликой о безгрешной встрече Принцивалле и Монны Ванны. А если прочла, то догадалась ли, кому он был адресован. Музы, вдохновляющие авторов даже великих произведений, далеко не всегда их читают и понимают. И не обязаны понимать...

Но авторское отступление вызвано не этим.

Вынужден сообщить: пребывание Жаботинского, Чуковского и Кармена на премьере «Монны Ванны», а затем в знаменитой кофейне Амбарзаки расходится с донесениями филеров в «Дневниках полицейских управлений», обнаруженных в государственных архивах Особого отдела Департамента полиции.

Оказывается, еще с апреля 1902 года Владимир Жаботинский был взят этим Департаментом «под особый надзор», и вот цитаты из ежедневных агентурных донесений в октябре 1902 года:

О передвижениях мещанина Жаботинского (кличка Бритый), проживающего в доме 11 по Красному переулку:

5 октября. 2:30. Отправился в кофейню при доме № 5 по Красному переулку, что там делал, не видели...

6 октября. В 12½ дня вышел из дома и с ним крестьянин Херсонской губернии Николай Эммануилов Корнейчук, 20 лет (кличка Большеносый)... Жаботинский зашел в контору «Одесские новости» и оттуда – не видели, а в 7 часов вечера пришел домой, и оттуда – не видели.

7 октября. Жаботинский вышел в 12¾ и проследовал по маршруту парикмахерская – «Одесские новости» – пивная при д. 21 по Дерибасовской... затем сел на извозчика и след его был утерян...

11 октября. В 4¾ извозчиком в Судебные установления, в 15½ извозчиком в контору «Одесских новостей», в 6 ч. вечера домой, ... в 7½ к нему пришел Александр Поляк, в 8½ вышли оба и направились в Клуб Литературно-художественного общества, оттуда не видели...

Опытный читатель уже нетерпеливо заерзал в кресле, предвкушая криминально-политический детектив. Честно говоря, и у меня, автора детективных романов, при первом знакомстве с этими донесениями руки зачесались и ноздри зашевелились – запахло триллером! Подумайте сами: юный Жаботинский-Альталена, известный журналист, влюбляется в сдобную красавицу-еврейку, а за ним, оказывается, ведется негласное наблюдение, филеры и переодетые полицейские агенты, сменяя друг друга, следуют по пятам. Ах, какой сюжет!

Но...

Если судить по этим донесениям, вечером одиннадцатого октября 1902 года Жаботинский и его приятель Александр Поляк «в 8½ вышли» от Жаботинского и «направились в Клуб Литературно-художественного общества». А спектакли в Одесском оперном театре начинались в восемь вечера. Выходит, Жаботинский не был на премьере «Монны Ванны» или этой премьеры вообще не было. Что, безусловно, полная чушь, поскольку об этой премьере есть сообщения в «Одесских новостях», и там же – статьи Альталены-Жаботинского и Хейфеца об этом спектакле. Причем фельетон Альталены – буквально назавтра после премьеры, то есть «фитиль» всем остальным одесским газетам.

В таком случае вызывает сомнение достоверность агентурных донесений – что значит «направились в Клуб»? Зашли в Клуб или только направились? И почему господа полицейские агенты «не видели», куда «оттуда» девался их подопечный? Или эти господа писали свои донесения, сидя в пивной при д.21 по Дерибасовской?

Наталья Панасенко, одесский краевед, которая раскопала в архивах эти донесения, так объясняет филерские ляпы: «Никто не знает, велись дневник наблюдений и само наблюдение с величайшим тщанием или кое-как. Сомнения правомерны уже потому, что всякий может ошибиться, и потому, что люди всех профессий по-разному относятся к своим обязанностям...»

Однако если царская агентура столь же бдительно следила за Лениным, Троцким и другими большевиками, то становится понятно, как случился Октябрьский переворот...

Как бы то ни было, следует отметить: рьяными или нерадивыми филерами велось наблюдение за двадцатидвухлетним Жаботинским, оно, это наблюдение, было. А причина его была изложена в рапорте ротмистра Васильева на имя начальника одесского Охранного отделения, этот рапорт 1903 года тоже сохранился в архиве Департамента полиции:

...Имею честь доложить Вашему Превосходительству следующее: город Одесса, будучи 1-м по торговле портом на юге России, является здесь главным умственным и экономическим центром...³ Здесь выходят ежедневные газеты «Одесские новости», «Южное обозрение» и «Одесский листок».

«Одесские новости» и «Южное обозрение» издаются и редактируются евреями, а «Одесский листок» хотя и издается русским – Василием Навроцким, тем не менее фактически является также еврейским органом, ибо г. Навроцкий находится в материальном отношении в полной зависимости от тех же евреев.

Состав редакций всех трех упомянутых газет состоит в большинстве из евреев, из коих некоторые, как Владимир Жаботинский, известны агентуре за активных революционных деятелей в местных организациях...

Да-да, так и написано: «известны за активных революционных деятелей»! Хотя в чем революционном состояла активность Жаботинского? Разве в его фельетонах «Вскользь», тщательно проверяемых цензурой перед публикацией, он мог призывать к революции?

Впрочем, в России издавна, испокон века, любое инакомыслие и даже просто мыслие – уже революция.

Но поскольку сам поднадзорный о слежке за собой ничего не знал, то по-юношески беспечно продолжал заниматься журналистикой и по четвергам выступал в «Литературке».

³ В Большой энциклопедии издания 1904 года отмечается: «Одесса, уездный город Херсонской губернии. Расположен на возвышенном берегу Черного моря. Центр администрации Одесского градоначальства и центр умственной жизни Новороссии. По переписи 1897 года население исчисляется в 405041 человек (четвертое место в России после столиц Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы). Этнический состав очень разнообразен. Большинство русских (малороссов и великороссов) и евреев, затем идут греки, итальянцы, немцы, французы, караимы и немного турок. Город очень красив и благоустроен, с прекрасным видом на море. Улицы широкие, чистые, обсажены тенистыми деревьями и вымощены гранитом. Освещается город газом, а лучшие улицы – электричеством. Сообщение между частями города поддерживается конной железной дорогой, в пригороды ведут паровые трамваи. В порт ведут десять спусков, гигантская лестница в двести ступеней и электрическая подъемная машина. Канализация, прекрасный водопровод с образцовой фильтрацией, доставляющий до пяти миллионов ведер воды из Днестра. В городе 187 улиц, 74 переулков, 24 площади и 2 бульвара, 10806 зданий, 48 православных церквей, 8 синагог и мечетей и 44 еврейских молитвенных дома. Четыреста восемьдесят шесть фабрик и заводов с 20220 рабочими. Четыреста двадцать два учебных заведения, в том числе одно высшее – Императорский Новороссийский университет, 250 еврейских училищ, 114 городских училищ, 17 школ церковно-приходских и 3 приюта, городская публичная библиотека, 3 бесплатных городских читальни, 6 частных библиотек, городской музей изящных искусств, 48 типографий, 34 книжные лавки, 21 периодическое издание, 3 больницы и много частных лечебных заведений. Главное занятие жителей города – торговля и работа в порту. Порт снабжен приспособлениями для автоматической нагрузки и выгрузки товаров. К первому января 1901 года к Одесскому порту приписано было 159 пароходов и 182 парусных судна».

5

В «литературке»

«По мнению г. Лифшица, Метерлинк не только не Шекспир, но не достоин был бы даже развязать ремня сапог у Шекспира...»

Эта цитата из сообщения «Одесских новостей» об очередном заседании Литературно-артистического общества показывает накал страстей того собрания. Доклад Хейфеца «Метерлинк и его “Монна Ванна”» был сделан в Виноградном зале бывшего дворца князей Гагариных, в самом центре Одессы, и, по словам газеты, «вызвал оживленные и интересные прения. Большинство оппонентов старались развенчать пьесу и отнять у Метерлинка лавры, которыми г. Хейфец увенчал его...»

Но самое примечательное – в другом. Газета называет четыре фамилии выступавших на диспуте: Хейфец, Инбер, Лифшиц и Жаботинский. Если вспомнить, что дворец Гагариных был построен в конце 1850-х годов для светских приемов князя Дмитрия Гагарина, наследника высших кругов русской аристократии, генерал-лейтенанта и члена старинной масонской ложи «Орла Российского», то пребывание тут Хейфеца – Инбера – Лифшица в роли заправил духовной жизни южной столицы православной Российской империи выглядит почти сюрреализмом.

И совершенно шокирующе прозвучало бы для русских князей выступление в их доме Владимира Жаботинского. «В продолжительной и горячо произнесенной речи г. Жаботинский оправдывает индивидуализм. Борясь за свою личность и за освобождение от оков, индивидуалисты как бы подают пример борьбе обществу, для которого интересы личности должны быть дороги». Здесь, с оглядкой на цензора, который бдел каждое слово в каждой газетной строке, – газета настолько смягчила «горячую речь» Жаботинского, что лучше послушать его самого. Тем паче есть документальные свидетельства его выступления: «Небольшого роста, жгучий брюнет, в очках, приехавший только что из Италии, он говорил очень увлекательно, с необыкновенным жаром, сильно жестикулируя»:

– Ради блага индивидуумов создано общество, а не наоборот! Ведь сказано: вначале сотворил Господь Адама, индивидуума. И значит: каждый индивидуум – царь, венец творения! И я – царь, и ближний мой – тоже царь...

Тут следует уточнить, что вовсе не одни евреи заполняли по четвергам Виноградный зал с его зелеными стенами, украшенными выпуклым переплетом лоз и гроздей. Все восемь или десять племен старой Одессы – русские, украинцы, греки, итальянцы, немцы, французы, караимы и «немного турок» – встречались в этом клубе, и популярный журналист Альталена был у этой публики любимцем, его не просто слушали, ему – внимали.

Но «жгучий брюнет» вдруг вывел свою речь за нейтральную территорию, в запрещенное пространство:

– В нашем городе треть населения – евреи. А если точнее, то по переписи 1897 года нас тут сто тридцать девять тысяч – тридцать четыре процента! И я хочу спросить сидящих здесь семитов: а кто из вас открыто и гордо скажет: я тут такой же царь, как этот русский? Или этот украинец в вышитой рубашке? Нет, господа, мы им не ровня, и никогда не будем, потому что мы пришлые на их земле. Мы жалуемся на то, что нас презирают, а мы сами себя почти презираем...

Лица еврейских слушателей насторожились, нахмурились. И ропот недовольства уже готов был вспыхнуть, но тут пылкий оратор увидел среди публики рыжую барышню Марусю и рядом с ней – ее моложавую мать. Резко, одним броском, он тут же вывернул в штилевую зону:

– Да, мы, евреи, безумно влюблены в русскую культуру, хотя русского народа мы почти не видим и не знаем русской обыденщины. Мы узнаем русский народ главным образом по его

писателям и гениям, то есть по высшим, чистейшим проявлениям русского духа, и потому картина, конечно, получается сказочно прекрасная...

И снова U-turn, разворот:

– Но еврейство... разве наши дети знают о его исторической роли просветителя народов, о его духовной силе, которая не поддавалась никаким гонениям? Они знают о еврействе только то, что видят и слышат. А что они видят? С раннего детства мы познаем наше еврейство среди нищего гетто, созданного веками гнета, и оно так непривлекательно, так некрасиво! А что мы слышим? Разве слышали вы когда-нибудь слово «еврей», произнесенное тоном гордости?..

В публике – снова настороженность, даже Хейфец, сузив глаза, тревожно ждет, куда свернет его протеже и любимчик. Когда этого паренька выперли из восьмого класса одесской гимназии только за то, что он редактировал школьную сатирическую газету «Правда», он пришел к Хейфецу, заявил, что уезжает учиться в Европу, и предложил себя в качестве европейского корреспондента. А ему и семнадцати лет не было! Правда, уже тогда литературная Одесса знала его замечательный перевод «Ворона» Эдгара По: *«Как-то в полночь, утомленный, / Я забылся, полусонный, / Над таинственным значеньем фолианта одного, / Я дремал, и всё молчало... Что-то тихо прозвучало – / Что-то тихо застучало у порога моего. / Я подумал: «То стучится гость у входа моего – / Гость, и больше ничего...»* Ах, какая ритмичная, перекачанная, просто завораживающая поэзия!.. *«Помню всё, как это было: мрак – декабрь – ненастье выло – / Гас очаг мой – так уныло падал отблеск от него... / Не светало... Что за муки! Не могла мне глубь науки / Дать забвенья о разлуке с девой сердца моего, – / О Леноре, взятой в Небо прочь из дома моего, – / Не оставив ничего...»* Да, блестящий перевод, лучше оригинала, просто нейдет из головы!.. И все-таки Хейфец не взял юного поэта своим европейским корреспондентом, – о чем пожалел тут же, как только итальянские статьи этого мальчишки-студента Римского университета появились у конкурента – в «Одесском вестнике». Свежесть и какая-то безоглядная лихость журналистского дарования так фонтанировали в каждой его публикации, что, едва Владимир вернулся в Одессу на студенческие каникулы, Хейфец предложил ему штатную должность фельетониста в своей газете и баснословное месячное жалованье – 120 рублей! Сто двадцать рублей! – да такие зарплаты были только у врачей и армейских штабс-капитанов! Конечно, Жабо не смог отказаться – Хейфец заранее выяснил бедственное положение его семьи: отец умер, когда Владимиру было шесть лет, мать с двумя детьми осталась без всяких средств и только каким-то неистовым еврейским упорством, почти голодая, вытаскала дочку и сына в гимназическое образование. Зато теперь, когда каждое утро разносчики газет бегут по улицам с криками: «Читайте “Одесские новости”! Новый фельетон Альталены!», и все – купцы, мещане, биндюжники, моряки, адвокаты, торговцы, портные, извозчики и даже полицейские – раскупают газету и тут же, первым делом, ищут в ней его новую статью, – теперь он со своей матерью и сестрой перебрались из нищенской конуры на Канатной улице в новую приличную квартиру в Красном переулке, 11.

Но куда этот парень гнет сегодня?

Бледно-зеленые, с выпуклым тиснением, стены Виноградного зала дворца Гагариных и постоянные посетители его литературных четвергов еще никогда не слышали таких откровенных и буквально убойных речей:

– Разве родители говорят нам: помни, что ты еврей, и держи голову выше? Никогда! Отпуская сына на улицу, мать говорит: «Помни, что ты еврей, и иди сторонкой». Отдавая в школу, просит: «Помни, что ты еврей, и будь тише воды». Так связывается у нас имя «еврей» с представлением о доле раба. И мы вырастаем, неся на себе еврейство как уродливый горб, от которого нельзя избавиться. А ложась спать, думаем тайком: ах, если бы утром оказалось, что это сон, что я – не еврей! Но «завтра» приходит, и мы просыпаемся, и тащим за собой свое еврейство, как каторжник ядро. И вот уже нашего молодого еврея охватывает злоба против этого звания «еврей», и каждая минута его жизни отравлена этой пропастью между тем, чем

бы хотелось ему быть и что он есть на самом деле. Это отравляющая затылка, изо дня в день, мы с нею свыкаемся, как свыкается человек со своей хромотой...

Последние слова утонули в возмущенном ропоте и криках юной еврейской публики:

– Чуть!

– Провокатор!

– Долой!..

Владимир усмехнулся:

– Вам не нравится? Но я вам больше скажу! Когда-то мы были Маккаби, Самсоны и Яковы, мы с Богом боролись и за то получили от Него свое гордое имя «Израиль»! Не «еврей», а «Израиль»! Но за две тысячи лет скитаний, подлаживаясь то под персов, то под испанцев, а теперь под поляков и русских, мы измельчали, изнизались, стали сами себе отвратительны! И теперь мы не знаем еврея – мы знаем жида, не знаем Израиля, а только Сруля, не знаем гордого коня, каким был наш народ когда-то, а знаем только жалкую нынешнюю «клячу»...

Уже не ропот, а гул негодования заполнил Виноградный зал.

Жаботинский поднял руку:

– Успокойтесь, я заканчиваю. Вы, слава богу, живы и здоровы, ведете свои дела. Но чем выше вы здесь подниметесь, тем ближе погромы. Изгнание нас ожидает, Варфоломеевская ночь, и единственное наше спасение – в безостаточном переселении в Палестину.

Этого еврейская публика уже не могла стерпеть, несколько юношей вскочили с мест:

– Заткнись!

– Сопляк!

– Позор!

– Провокатор!..

Но газета «Одесские новости» об этом, конечно, не написала.

«В своем заключительном слове, – сказано в газете, – референт выразил свое недоумение по поводу того, что во время прений была сделана попытка низвести “Монну Ванну” до степени среднего литературного произведения... Даже в произведениях Шекспира можно отыскать немало таких же, как в “Монне Ванне”, недостатков. И это тем не менее не мешает Шекспиру быть, по общему признанию, величайшим писателем, как пьесе Метерлинка недостатки не мешают быть выдающимся произведением».

6

Вторая встреча

После собрания, пока служители в Виноградном зале убирали стулья для танцев, холерный, в смокинге, Хейфец, высоченный Чуковский и нервно-беспокойный Трецек подошли к стоявшему у стены Жаботинскому.

– Коллега, – сказал Хейфец, – что это за новую забаву вы себе сочинили? Палестина? Право, несерьезно...

– А вы читали «Автоэмансипацию» Пинскера? – ответил Жаботинский с вызовом боксера, еще не остывшего от боя на ринге.

– Не только читал, но и знал автора, – улыбнулся Хейфец. – Он же наш, с Ришельевской улицы. Но одно дело мечтания Иегуды Пинскера или Теодора Герцля...

– А если я напишу то, что сегодня сказал, – нетерпеливо перебил Жаботинский. – Напечатаете?

– Пока что я печатал все, что вы писали, – спокойно произнес Хейфец, но тут же предусмотрительно добавил: – Если цензор разрешит... – и повернулся к Чуковскому: – Вы тоже читали Пинскера?

– Я? Н-нет... – смешался Корней.

– До завтра, коллеги. Приятного вечера, – и Хейфец с достоинством направился из Виноградного зала в передний, парадный по имени Золотой.

– Кто такой Пинскер? – нетерпеливо спросил Корней у Владимира.

– Гений, – вместо Жаботинского тут же ответил Трецек.

А Жаботинский пояснил своему школьному другу:

– Двадцать лет назад Иегуда Пинскер, наш одесский врач, первый, еще до Теодора Герцля, написал, что никакое равноправие с вами нам тут не поможет, и нечего нам тут побираться и ждать прихода Мессии. Домой нам пора, в Палестину...

Как сказали бы сегодня, это было «пунктом» Жаботинского чуть ли не с детства. Хотя открытого уличного антисемитизма ему испытать не пришлось, но в 1887 году – именно тогда, когда Володе Жаботинскому пришла пора идти в школу – распоряжением Министерства просвещения Российской империи была введена десятипроцентная норма для евреев в казенных учебных заведениях. То есть закон, по которому в эти заведения принимали только одного еврея на девять христиан. И теперь поступить удавалось лишь вундеркиндам или тем, чьи родители давали солидную взятку учителям. Жаботинский четырежды держал экзамен в гимназию, в реальное училище и в коммерческое училище – и проваливался. А если точнее – был провален. Однажды, придя домой после очередного фиаско, он спросил у матери: «Мама, а у нас будет свое государство?» «Конечно, будет, дурачок!» – любя своего сына, легко пообещала мать. Но есть в детском сердце мечты и зарубки, которые не забываются всю жизнь. Зарубки психологи называют «детскими травмами». А мечты? Ромен Гари, русский еврей и французский писатель, сказал, что «душа ребенка навсегда впитывает преподанные ему уроки». Жаботинский до четырех лет был баловнем богатого отца, любящей матери и старшей сестры. А после смерти отца они враз оказались на дне, в нищете. И хотя с пятого раза он таки поступил в гимназию, но и ему не раз приходилось слышать: «Помни, что ты еврей, и будь тише воды»...

Да, возможно, для тех, кто рожден в рабстве, рабство выпадет естественно, *врожденно*. Но, как теперь установлено, личность или конкретно интеллект + характер у нас формируется до трех лет. А потом как ни гните великую личность, как ни гнобите, она вырвется из-под гнета, как стальная пружина...

Из-под гнета антисемитского царского режима Володя Жаботинский вырвался в семнадцать лет, уехав в Европу корреспондентом «Одесского вестника». «Я проехал через Подолию

и Галицию, третьим классом разумеется, – вспоминает он в “Повести моих дней”. – Поезд полз, словно черепаха, останавливаясь во всех местечках. На всех станциях, днем и ночью, в вагон входили евреи, на перегонах между Раздельной и Веной количество слышанного на языке идиш было больше, чем за все прошлые годы моей жизни. Не все я понимал, но впечатление было сильным и горестным. В поезде я впервые соприкоснулся с гетто, своими глазами увидел его ветхость и упадок, услышал его рабский юмор, который довольствовался вышучиванием ненавистного врага вместо бунта... Я склонял голову и молча вопрошал себя: и это наш народ?.. Впечатления от поездки через Галицию проникли в самую глубь моей души!»

Став поначалу студентом Бернского университета, он на первой же студенческой тусовке выплеснул все, что накопилось в душе и на сердце, он сказал: «Не знаю, социалист ли я, ибо я еще не познакомился как следует с этим учением, но то, что я сионист, – несомненно. Ибо еврейский народ очень скверный народ, соседи ненавидят его – и поделом, изгнание его ожидает, Варфоломеевская ночь, и его единственное спасение в безостаточном переселении в Палестину».

Тогда это был просто выплеск и «крик души» против рабского долготерпения и униженности евреев, но после Берна были Римский университет и два с лишним года свободной жизни в Италии, они выветрили из его души все микробы российского гетто, освободили от пут русской крепостнической психологии, сделали стопроцентным итальянцем и европейцем, и теперь, в Одессе, во дворце князей Гагариных, он высказал своим соплеменникам то, что проверил личным опытом: только переселение на свободу спасет евреев от морального распада и измельчания.

Но еврейская публика «Литературки», удобно обжившаяся в сытом одесском галуте⁴, проходила мимо Жаботинского с демонстративным отвращением, а кто-то на ходу даже громко сказал: «Он просто зоологический антисемит!» И только толстый подвыпивший оперный певец в расшитой украинской рубашке, раскинув руки, вдруг радостно подошел к Владимиру и хмельно обнял его:

– Я спивун. Брат мий Алталена! Цэж вы у саму печенку их цапнули! Водой нас тэпэр не разольеш!..

Выпятив нижнюю губу, Владимир отстранил певца, а проходивший мимо элегантный господин с черными усиками вдруг остановился и сказал:

– Мсье Жаботинский, зачем вы метаете горох об стенку? Вы толкуете, что мы наследники Маккаби. А мы уже не те евреи. Мы даже не люди. Мы портные.

– Тем паче нам пора в Эрец-Исраэль, – резко отбрил его Жаботинский.

– Полностью с вами согласен, – произнес господин с усиками и протянул свою визитную карточку. – Я Шломо Зальцман из «Союза одесских домовладельцев». Надеюсь, мы еще увидимся.

Жабо мельком глянул на карточку, там не было никакого «Шломо», а стояло «С. Д. Зальцман» и трехзначный номер телефона.

Треcek тем временем за руку поздоровался с проходившим мимо рыжим молодым русским, на которого во время своей пылкой речи показывал Жаботинский, и пояснил, когда тот ушел:

– Помощник прокурора, далеко пойдет...

– Полундра! – вдруг тихо сказал Жаботинскому Чуковский. – К тебе идут! – И локтем толкнул Трецека: – Пошли отсюда...

Действительно, рыжая Маруся, прекрасная и сдобная, как свежая субботняя хала из лучшей одесской пекарни братьев Крахмальниковых, таща за рукав свою мать, уже вела ее к Жаботинскому.

⁴ Галут – еврейская диаспора.

Он даже не понял, как это произошло: при приближении Маруси его живот похолодел и прилип к ребрам, а сердце подпрыгнуло в горло, и дыхание остановилось.

Между тем Маруся, весело и дерзко глядя ему в глаза своими инопланетными серо-зелеными омутами, сказала, подведя свою мать чуть ли не вплотную к нему:

– Эта женщина – ваша читательница и хочет с вами познакомиться, но робеет: Анна Михайловна Мильгром.

– Оч-чень приятно... – замороженно произнес Владимир.

Тут Анна Михайловна протянула ему руку, а Маруся продолжила с насмешливой улыбкой:

– Между прочим, мне и самой надо представиться: я ее дочь. Но она в этом не виновата, – и, повернувшись к матери: – Мам, веди себя как следует.

И – ушла в толчею публики на танцевальном полу.

– Пошла выбирать себе кавалера... – глядя ей вслед, вздохнула Анна Михайловна.

Не в силах оторвать взгляда от Марусиной фигуры, Владимир, чувствуя, как гулко ожило сердце, всё-таки заставил себя вымолвить:

– Кажется... по этикету это делается наоборот...

– Закон не про нее писан, – улыбнулась Анна Михайловна, она оказалась еще моложавей, чем виделась Жаботинскому издали, и с удивительно добрыми глазами. – Впрочем, извиняюсь за выходку дочери... – И услышав, как в конце зала небольшой оркестр вступил новомодным аргентинским танго, закончила: – А вообще, вам не до старух, вы хотите танцевать.

– Напротив, Анна Михайловна, – справившись с дыханием, возразил Жаботинский, почему-то рядом с этой женщиной он сразу почувствовал облегчение, словно его из ледяной проруби спасли и тут же напоили горячим чаем. – В гимназии учитель танцев прогнал меня из класса – я никак не мог постичь разницу между кадрилию и вальсом в три па...

Вдвоем они присели на угловой диван за фикусом.

– Моей дочери скоро двадцать лет... – глядя на танцующих, произнесла Анна Михайловна.

Жаботинский галантно сострил:

– Кто вам, сударыня, позволил выйти замуж в подготовительном классе?

Но Анна Михайловна лишь отмахнулась:

– Слушайте, я действительно хотела с вами встретиться. Мой муж знал вашего покойного отца по хлебной бирже. Он охотно устроит вас у себя в конторе...

Помимо воли высматривая танцующую Марусю, Жаботинский удивился:

– Да ведь я газетчик.

– Но нельзя же всю жизнь сочинять фельетоны, пусть даже талантливые, – сказала Анна Михайловна. – У нас дача на Среднем Фонтане, приходите.

Танцую с молодожаво-статным моряком в офицерском кителе, Маруся, чувствуя, что Жаботинский на нее смотрит, стала еще активней демонстрировать себя и изображать увлеченность своим кавалером. Аргентинское танго этому явно способствовало, а тридцатилетний морской офицер умело и властно руководил своей партнершей.

Когда оркестр дал последний аккорд, Маруся, разгоряченная, подбежала к матери и Жаботинскому.

– Берегитесь! – озорно сказала она Владимиру и показала на мать: – Она обворожит обворожит, а на роман не согласится! – И тут же матери: – Я уже влюблена! Жаль, у него усы, но, надеюсь, мягкие, царапать не будут...

Оркестр вступил с новым танцем, Маруся убежала к морскому офицеру.

Следя за дочерью, Анна Михайловна нервно достала веер.

Владимир попробовал ее успокоить:

– От слова не станется...

– О, – сказала она, обмахиваясь веером, – меньше всего я тревожусь за Марусю. У нее есть граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают...

Но моряк с коротко подстриженными усиками так уверенно прижимал в танце Марусю к себе, что Анна Михайловна не сдержалась:

– Правда, я не хотела бы знать, где эта граница. Этот офицер, его зовут Алексей Руницкий, летом снимает дачу по соседству с нашей. С его сестрами Маруся в гимназии училась...

Хотя Жаботинский изо всех сил старался держаться индифферентно, он тоже не мог оторвать глаз от Маруси. Притом что на танцевальном полу было множество пар, Маруся с этим морским офицером явно выделялись и своим страстным танцем, и особенно какой-то пылкой женственной энергией, которая светилась в каждой клеточке прекрасной Марусиной фигуры.

7

За работой

Несмотря на то что стояла уже вторая половина октября, летняя засуха почти не отступала, и даже ночью было тепло, как в сентябре. Идя по ночной Одессе в перепадах желтого света газовых фонарей и глубоких теней от ветвистых кленов, стоявших вдоль тротуаров, Владимир ребром ладони бил по их жестким стволам. Было больно, но этой боли он пытался смирить себя, подавить увлечение «сдобной» Марусей.

В Красном переулке, у железных ворот дома 11, привычно дернул за звонок. Чернородый и заспанный дворник тут же вылез из своего подпольного логова и «одчинил фортку», то есть калитку. Приемля гривенник, снял картуз и вежливо кивнул чуприной:

– Мерси вам, паныч.

– Дякую, Хома. Добра ніч, – по-украински ответил «паныч» и собрался пройти мимо, но Хома, огладив бороду, вдруг сказал:

– Оце ж вы смачно за шулеров написали...

Действительно, два дня назад в «Одесских новостях» был опубликован фельетон Жаботинского про молодежь в студенческих тужурках, нечисто играющую в карты и обыгрывавшую приезжих купцов и курортников.

Но Жабо удивился:

– А ты газеты читаешь?

– Ни, нэ я, – признался Хома, – ваша Мотря мэни зачитала.

Молоденькая Мотря, пассия Хома и горничная у Жаботинских, была грамотной, поскольку до них служила у генерала. Если, войдя на кухню, кто-либо из домашних заставал Хому в рукопашном общении с этой Мотрей, он быстро от нее отстранялся, снимал картуз и смущенно докладывал, что визит его объясняется заботой об их же интересах – побачить, например, чи труба не дымить, или вьюшки не спорчены. Тот факт, что Мотря стала зачитывать дворнику газетные статьи, свидетельствовал о значительном прогрессе в их отношениях. Интересно, а какого прогресса добился сегодня усатый морской офицер, под руку с которым ушла из «Литературки» рыже-огненная Маруся?

Сглотнув воздушный ком, ревниво пресекавший дыхание, Владимир поднялся на второй этаж. Осторожно, стараясь не скрипеть ключом, открыл дверь квартиры, в которой жил с матерью и старшей сестрой, снял в прихожей ботинки и, чтобы не будить маму и Тамару, в одних носках прошел в свою дальнюю комнату. Здесь, не раздеваясь и не зажигая свет, плашмя бросился на свою узкую койку, вжимаясь животом в матрац и вспоминая смеющиеся Марусины глаза и то, как она танцевала с тем морским офицером и как прижималась к нему своей высокой грудью. «Жаль, у него усы, но надеюсь – мягкие, царапать не будут», – вновь услышал он ее грудной низкий голос. А мать Маруси сказала: «У нее есть граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают... Правда, я не хотела бы знать, где эта граница...» «А я бы хотел!» – вдруг яростно подумал Владимир и даже заскрипел зубами, ясно представив, как где-то на скамье, в тени платанов Николаевского бульвара, эти усы ищут «границу» на сдобе Марусиной груди...

От этого миража ему вдруг стало так трудно дышать, словно кто-то зажал в кулаке его сердце как воробьиного птенца – не крепко, но как раз достаточно, чтобы не дать вдохнуть во всю ширину. Жар залил ему лицо, грудь и живот. «Черт возьми, я таки влюбился! – возмущенно подумал он и тут же вынес себе вердикт: – Нет! Ты не станешь в ряд ее обожателей! Ты не дашь себе отравиться любовным ядом!»

Нервным броском он перевернулся на спину и встретился взглядом с портретом отца на стене. Сорокалетний, большеголовый, с высоким выпуклым лбом, очень коротко стриженный, но с окладистой черной бородой и черными усами, отец какими-то тихими теплыми еврей-

скими глазами смотрел на сына. Владимир плохо помнил его или, точнее, не знал, сам ли он помнил, как отец поднимал его, малыша, и через голову сажал к себе на плечи, или это мама и Тамара рассказывали ему... Ему было четыре года, когда отец заболел так, что мама помчалась с ним в Берлин к лучшим немецким врачам. По рассказам Тамары, которая старше Владимира на целых семь лет, тогда они были очень богаты, но за два года в Берлине все их состояние ушло на тех врачей. А отца все равно не стало. И теперь... Теперь он должен работать. Работать, а не мечтать об этой Марусе... Работать, как Джузеппе Гарибальди, его итальянский кумир. Сын хозяина небольшого торгового судна и с пятнадцати лет простой моряк, Джузеппе с юности мечтал об освобождении Италии от австрийского и французского владычества, а добился этого только к старости, но – добился! И стал кумиром Италии! А он, Жаботинский, станет еврейским Гарибальди, даже если на это тоже уйдет вся жизнь...

Владимир решительно встал с кровати, привычно пересек в темноте свою небольшую комнату и сел за свой узкий письменный стол у окна, заваленный книгами и газетными вырезками. Отодвинул оконную занавеску, зажег керосиновую лампу и со стопки узких длинных листов бумаги, заполненных его ровным мелким почерком, взял верхний лист, исписанный лишь до половины. Прочел написанное:

В еврействе есть дурные стороны, но мы, интеллигенты-евреи, страдаем отвращением не к дурному, а к еврейскому и за то, что оно именно еврейское... Арабское имя Азраил кажется нам очень звучным и поэтическим, но тот из нас, кого зовут Израиль, всегда недоволен своим некрасивым именем. Мы охотно примиримся с испанцем, которого зовут Хаймэ, но морщимся, произнося имя Хаим... Наши журналисты, выводя пламенные строки в защиту нашего племени, тщательно пишут о евреях «они» и ни за что не напишут «мы»...

Остановился, посмотрел в темную ночь за окном и сузил глаза, пытаюсь сквозь перспективу темного Красного переулка войти в другое, смысловое пространство. Обычно это помогало. Обычно стоило ему ночью сосредоточиться, сконцентрироваться на важной мысли и начать формулировать ее на бумаге, как почти тут же возникал какой-то прямой и тонкий, как жгут, ментальный канал с Вселенной, с высшим энергетическим полем, откуда лились к нему нужные и точные слова. Слово уже не он сам сочинял, а ему диктовали текст, отлитый в единственно правильные слова...

Но сегодня это не получалось. Что-то мешало целиком отстраниться от темных деревьев и домов за окном, и он точно знал, что мешало – сдобная фигура той Маруси, ее рыжие, как пламя, волосы, ее шея и высокая грудь. Она стояла перед его глазами, хотя нет, не *перед* глазами, а где-то в тылу сознания, в затылке, как фотография на еще не проявленной пластинке. Прочь! – он даже встряхнул головой и еще раз перечитал последнюю фразу своей статьи. Резко поправил стул под собой, макнул перо в чугунную чернильницу и продолжил:

...Нам нужно, несказанно-мучительно нужно стать патриотами нашей народности, патриотами, чтобы любить за достоинства, корить за недостатки, но не гнушаться, не морщить носа, как городской холоп – выходец из деревни, при виде мужицкой родни...

Снова пауза и взгляд в темноту за окном, но взгляд уже не видящий, а погруженный внутрь себя, в поиск той концентрации мысли, которая только и ведет к точным и емким словам.

Гнусно-мелочный антисемитизм, которым без исключения все мы, интеллигенты-евреи, мучительно заражены, эта гнилая духовная проказа, отравляющая все наши порывы к страстной патриотической работе, – это и есть свойство холопа, болезнь нахлебника;

и тогда только пропадет он, этот антисемитизм, когда мы перестанем быть холопами и нахлебниками чужого дома, а будем хозяевами под нашей кровлей, господами нашей земли...

Да, именно так, но нужно совсем вытеснить из сознания видение женской фигуры и еще дожать свою мысль, чтобы полностью вычерпать тему и сформулировать смысл:

Говорят, что это мечта, которая не сбудется. Робкие, близорукие люди, вскормленные мещанства, которым не дано понимать, что самая смелая фантазия есть только слабое предчувствие завтрашнего факта.

Неясный, блекло-зыбкий рассвет забрезжил за его окном.

Владимир встал и, не раздеваясь, бросился в кровать – устало, словно писал всю ночь. Куда, в какое издание он сможет отдать эту «Тоску о патриотизме»? Кто решится это напечатать? «Одесские новости»? «Южные записки»? Впрочем, когда Гарибальди писал в ссылке свои антиклерикальные статьи и романы, разве он мог предполагать, что его первый же роман «Клелия, или Правительство священников» после выхода в свет в Италии будет тут же переведён на русский язык и напечатан в журнале «Отечественные записки»?

Но уже совсем другие мысли, а точнее, другой образ заслонял мысли о евреях и Гарибальди. Как в темной фотолаборатории со дна кувеза выплывает из раствора снятый на пластинку портрет, так, вытесняя все его размышления о сионизме, уже выплывал из закров его сознания и проявлялся в мозгу образ красавицы Маруси. И не было ни сил, ни желания избавиться от нее, а, наоборот, было только одно желание – сладостно обнять ее и унести в свой сон...

8

В редакции

Влияет ли литература на реальную жизнь?

Когда двадцатипятилетний Гёте писал «Страдания юного Вертера», думал ли он, что вслед за его героем-самоубийцей на тот свет отправятся сотни подражателей? И можно ли было судить Гёте за эти самоубийства?

Ладно, это негативный пример.

А когда Эмиль Золя писал «Дамское счастье» про любовную историю в магазине женских нарядов и украшений, думал ли он, что за тысячи километров от Парижа юная супруга одесского купца Моисея Менделевича настолько впечатлится его идеей женского универмага, что уговорит мужа построить в Одессе «Пассаж Менделевича», превосходящий по роскоши украшений даже Одесский городской театр?

Ах, чего не сделает бедный еврей для любимой жены!

Моисей Менделевич, заработавший свои скромные миллионы на хлеботорговле, вложил в это строительство 1300000 полновесных золотых рублей, а нанятые им архитекторы и скульпторы развернулись на эти деньги так, что с момента открытия Пассажа двадцать третьего января 1900 года и по сей день у посетителей дух захватывает от красоты и изыска тамошних скульптур и других элементов декора. Путеводитель по Одессе 1900 года сообщает: «По своей легкой архитектуре и красивой отделке Пассаж является одним из лучших в России. Наружный фасад огромного здания и обширный, под стеклянной крышей, двор по обе стороны занят магазинами и разными торговыми фирмами. Особенно эффектен Пассаж вечером, при электрическом освещении. Подъемная машина готова поднять публику до четвертого этажа. Под зданием – галереи с рельсовым путём, сообщающимся с черным грузовым двором посредством особых люков. Товары, сбрасываемые в люки, развозятся в вагонетках по складам всех находящихся в Пассаже магазинов... На крыше здания расположены две фигуры – Меркурия и Фортуны. Меркурий удобно сидит на паровозике, а богиня удачи смотрит в даль моря, освещая себе путь факелом, находящимся в руке».

Осилить заоблачную стоимость аренды помещений в этой галерее могли только самые крутые магазины: ювелирный, парфюмерный, гастрономический... Здесь же была (и есть сегодня) роскошная гостиница «Пассаж» и элитный ресторан «Эрмитаж», центр ночных кутежей одесской богемы.

А в 1901 году на втором этаже Пассажа Менделевича поселилась редакция газеты «Одесские новости». И все длиннющее вступление к этой главе написано лишь затем, чтобы читатель представил себе доходы владельца газеты Александра Соломоновича Эрманса, если он смог снять для своей редакции апартаменты аккуратно над шикарным гастрономом Беккеля, чарующим своими кофейно-шоколадно-пряно-лимонными запахами всю трехэтажную восточную часть Пассажа!

Не потому ли так любил Жаботинский свой ежедневный поход из Красного переулка в редакцию?

«Это произошло на Дерибасовской... Редакция наша находилась тогда в верхнем ее конце, в Пассаже у Соборной площади, и по дороге туда я проходил по всей длине этой улицы, королевы всех улиц мира сего. Почему королевы, доводами доказать невозможно... Я, по крайней мере, никогда в те годы не мог бы просто так прошмыгнуть по Дерибасовской, не отдавая себе отчета, где я: как только ступала нога на ту царственную почву, я невольно подтягивался и пальцем пробовал, не развязался ли галстук, уверен, что не я один.

Свое лицо было и у фрейлин королевы – поперечных улиц. Я начинал шествие снизу, с угла Пушкинской: важная улица, величаво сонная, без лавок на том квартале... Кто обитал в

прекрасных домах кругом, не знаю, но, казалось, в этой части Пушкинской улицы доживала свои последние годы барственная старина, когда хлебники еще назывались негоциантами и, беседуя, мешали греческий язык с итальянским.

Следующий был угол Ришельевской, и первое, что возвещало особое лицо этой улицы, были столы менял, прямо тут же на тротуаре под акациями. На столах под стеклом можно было любоваться и золотом, и кредитками всех планет Солнечной системы, и черноусый уличный банкир, сидя тут же на плетеном стуле с котелком или фетровой шляпой на затылке, отрывался от заморской газеты и быстро обслуживал или обсчитывал вас на каком угодно языке. А с обеих сторон этой верховной артерии черноморской торговли сияли золотые вывески банкирских контор, недостижимых магазинов и олимпийских цирюлен, где умели побрить человека до лазурного отлива...

Именно здесь однажды зимою увидел я странную сцену: постовой полициант, правивший движением извозчиков, на минуту куда-то отлучился, и вдруг его место на этом ответственном перекрестке заняли два молодых человека, один в студенческой шинели, другой в ловко сшитом полушубке и с высокой папахой на голове. Пошатываясь и опираясь друг на друга, они на глазах у изумленного народонаселения вышли на самую середину перекрестка, вдумчиво, на глазомер, установили центр, подались слегка вправо, подались чуть-чуть назад, пока не попали в геометрическую точку, тогда учтиво раскланялись между собою, повернулись друг к другу тылом, оперлись для твердости спиной о спину и, вложив каждый по два пальца в рот, огласили природу свистом неподражаемой чистоты и силы. Услыша знакомый сигнал, все извозчики и все лихачи с севера, юга, востока и запада машинально замедлили санный бег свой, ругаясь сквозь зубы и глазами ища городского, подавшего такой повелительный окрик, – и, увидя на месте его этот необъяснимый тандем, опешили и совсем остановились.

Юноша в папаче, хотя нетвердым в смысле произношения, но грозным басом великого диапазона возгремел:

– Езжай, босява, чего стали! – и они действительно по слову его тронулись, а оба друга указующими белыми перчатками направляли, кому куда ехать... но уже неся откуда-то на них городской, со свирепыми глазами навывкате, явно готовый тащить и карать – и вдруг, в пяти шагах от узурпаторов, выражение лица его стало милостивым и даже сочувственным: увидел, что пьяны, и братская струна, по-видимому, зазвенела в православном сердце. Что он сказал им, нельзя было расслышать, но несомненно что-то нежное: не беспокойтесь, паньчи, я сам управлюсь – и они, важно с ним раскланявшись, побрели рука об руку...

Квартал между Екатерининской и Гаванной я проходил с ощущением гастрономического подъема: там, в огромном и приземистом доме Вагнера, в глубине пустынного двора ютилась старая таверна Брунса, где ангелы небесные, по волшебным рецептам рая, создавали на кухне амброзию в виде сосисок с картофельным салатом, а Ганимед и Геба, виночерпии на Олимпе, сами отцеживали из бочонка мартовское пиво... Но нельзя без конца поддаваться таким искушениям, а главное сделано – мы добрались до угла Дерибасовской улицы и Соборной площади...»

Вдохнув дразнящие запахи кондитерской и бакалеи гастронома Беккеля, Владимир толкнул высокую резную дверь бокового входа в Пассаж и по широкой мраморной лестнице взшел на второй этаж. Здесь, в нескольких комнатах, под высокими окнами с видом на Дерибасовскую улицу и Соборную площадь, за новенькими «ундервудами» или, по старинке, – скрипучими перьями по узким полоскам бумаги, трудились два десятка журналистов: тишайший Осип Инбер, полиглот и начётчик, Соколовский, скучный и почтенный передовик, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, художники Нилус и Линский, поэт и драматург Федоров, юморист Борис Флит и сам Израиль Хейфец. То была старая гвардия, любители подписывать свои статьи экзотическими псевдонимами: Лоэнгрин, Барон Икс, Железная Маска, Некто в сером, Лоло, Буква-Василевский, Старый Театрал...

Понизив голос, эти «старички» обсуждали доставленные слухами новости о жестоких подавлениях войсками и казаками крестьянских волнений в Полтавской и Харьковской губерниях – публичных порках, насилии и даже расстрелах. Но писать об этом в газету было невозможно: без штампа «дозволено цензурой» газета не могла пойти в типографию...

А новую, набранную Хейфецом гвардию представляли Лазарь Кармен, Константин Мочульский, Леонид Гроссман, Корней Чуковский, Лео Трецек и Альталена-Жаботинский. «Выдачей авансов» занимался управляющий конторой Самуил Можаровский, а редакционными служащими в приемной были православный парень по имени Абрам и еврейская девушка Катя.

– Вам пошта прыйшла, – вместо приветствия сказал этот Абрам вошедшему Жаботинскому и вручил ему открытку с раскрашенной картинкой.

Картинка изображала злую худощавую даму, избивавшую большой деревянной ложкой собственного мужа. Под этим было чернилами приписано, без подписи и печатными буквами: «ТАК БУДЕТ И С ТОБОЮ ЗА СТАТЬЮ О ШУЛЕРАХ».

Жаботинский повертел открытку в руке: штемпель на ней был городской, и это было первое анонимное письмо в его карьере, да еще с угрозой; польщенно улыбувшись, он пошел на взволнованный голос Лео Трецека, доносившийся из репортерской.

Как уже было сказано, Трецек был взволнован всегда: он не просто вёл в газете отдел криминальной хроники – он душевно переживал вместе с вором каждую кражу, а уж полным праздником для него был удачный пожар или замысловатое убийство. Это был, вероятно, единственный на всю Россию труженик печати, имевший право похвастаться: я пишу именно о том, о чем люблю писать. Ему не мешал цензор, у всех остальных «резавший» целые полосы, у Трецека была одна помеха: ответственный секретарь редакции Осип Инбер, редактировавший хронику. Он у Трецека не посягал на содержание, но стиль его портил вандалически. Например, у Трецека в рукописи женоубийство на Кузнечной изображалось так: «Тогда Агамемнон Попандопуло, почувствовав в груди муки Отелло, занес над головой сверкающий кухонный нож и с диким воплем бросился на беззащитную женщину. Что между несчастными произошло после того, покрыто мраком неизвестности». А в печать попадало: «Владелец бакалейной лавки греческий подданный такой-то вчера зарезал свою жену Евлалию, тридцати четырех лет, при помощи кухонного ножа, обстоятельства дела полицейским дознанием пока еще не выяснены».

Трецек знал в городе всех, и все его знали, начиная с самых верхов, а у полиции он числился своим человеком и бардом ее сыскных подвигов. Знали его и просто горожане, хотя печатался он без подписи. Знали и «низы»: бывало, что через три дня после выхода сенсационного номера приваливала в контору целая делегация с Пересыпи:

– Нам, будьте добрые, тую газету, где господин Трецек отписали за кражу на Собачьей площадке.

Коллеги по газете его дразнили, что «свои преступления» он сочиняет по копеечным романам, ходким тогда в простонародье, но он гордо отвечал:

– Я чтоб делал свои преступления по ихним романам? Это они сочиняют романы по моим преступлениям!

– Трецек, – сказал Жаботинский, подавая ему открытку со злой женою и страдальцем-мужем, – скоро будет у вас в хронике покушение на убийство молодого фельетониста, подававшего надежды.

Лео прочитал открытку, покрутил ее в руке и вдруг сказал:

– Жабо, идите сюда, я хочу с вами поговорить.

Они вышли в пустую комнату.

– Вы напрасно это затеяли, – начал Трецек, – лучше было не трогать эту шулерскую компанию.

– Лео! – Жаботинский выпятил грудь. – За кого вы меня принимаете? – и процитировал популярную песню: «Я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня».

– Да никто вас не тронет, ерунда, – отмахнулся Трецек, – дело не в этом. А просто – незачем задевать своих друзей.

– Каких друзей? Что вы плетете, коллега?

– Трецек не плетет, а знает. Давно вы не были в кафе у Фанкони?

– Вообще в таких шикарных местах не бываю.

– А вы возьмите аванс у Можаровского и сходите. Вечерком, часов в десять. Увидите всю эту компанию, за отдельным столом. На первом месте, душа общества, обязательно восседает брат вашей пассии.

– Какой брат? – изумился Жаботинский. – Какой еще пассии?

– А вашей Маруси, «кошечки в муфте», брат – Сережа Мильгром.

9

Станция «Средний фонтан»

«Ванька Головатый» громко пыхтел паром, сыпал искрами из высокой трубы и клацал по рельсам железными обручами деревянных колес. «Ванькой Головатым» в Одессе называли небольшой паровозик-паровичок, который в конце XIX века победно сменил в одесских пригородах медлительные конки. Теперь, в последние теплые дни запоздалого бабьего лета, этот «Ванька» уверенно, с крейсерской скоростью двенадцать верст в час, тащил вдоль морского побережья аж четыре удобных, с открытыми настежь окнами вагончика с крупными буквами «О.К.Ж.Д» на боках. Буквы эти остались с тех пор, как дорога была «К» – конной, поскольку директор «Одесской конной железной дороги» бельгиец Камбье, заработав на этой дороге миллионы («Пленительная конка, / Камбье миллионы несла, / Ему одесская сторона / Вторую родиной была» — пели тогда в Одессе), никак не хотел раскошиться на замену буквы «К» на «П». Впрочем, расход был действительно большой – не только на вагончиках нужно было менять эти буквы, но и на станционных деревянных будках, стоявших от Первой до Шестнадцатой станции Большого Фонтана...

В последнем вагончике – чтоб подальше от опасных искр из трубы – в числе нескольких других опытных пассажиров ехал наш герой. Сопровождал ли его в этой поездке полицейский филер, мы не знаем, поскольку жандармских донесений «о передвижениях мещанина Жаботинского (кличка Бритый)» из центра Одессы за город в «Дневниках полицейских управлений» не сохранилось. Но «особый надзор» с него снят не был: как читатель убедится чуть дальше, этот надзор еще и усилится, обернувшись заключением в тюремную крепость...

Однако ни о каком надзоре юный Жабо все еще не догадывался, а под предлогом «срочной необходимости» поговорить с Сергеем, братом Маруси, позволил себе отправиться к Мильгромам на дачу. Ведь Анна Михайловна сама пригласила его туда еще на вечеру в «Литературке». И вообще, мало ли в чем мы клянемся себе по ночам! Днем, при ярком солнечном свете, ночные кошмары и искушения тают, как утренний туман над Ланжероном. Ну что страшного в том, что он еще раз увидит эту Марусю? А то он не видел красивых девиц! И разве не было у него в Риме двух красивых жгучих итальянок?..

Восьмая станция Фонтана... Девятая...

Последний, четвертый, вагончик безбожно раскачивало из стороны в сторону, мещане среднего сословия крепко держались за вертикальные стойки и поручни, и Владимир, глядя на проплывающие по сторонам хатки и домики с садиками и огородами, усилием воли заставил себя отвлечься от мыслей о сладостях своих римских увлечений, стал прикидывать, как в следующем фельетоне описать это путешествие на «Ваньке Головатом».

– Як тобі до хлебника Мильгрома, то отут и прыгай, – посоветовал ему кондуктор.

Жабо так и сделал: чуть оттолкнувшись от деревянных поручней, чтоб погасить инерцию движения, легко спрыгнул с подножки вагона в придорожную пыль и *лушпайку*. Через тридцать лет этой «лушпайке» он посвятит целый гимн, который нельзя тут не процитировать:

Символ плебейства, с презрением скажут хулители, но это не так просто. На Десятой станции я видел не раз, как самые утонченные модницы, директора банков, жандармские ротмистры и подписчики толстых журналов брали в левую руку «фунтик» из просаленной бумаги, двумя перстами правой черпали из него семечки подсолнуха, и изысканный разговор их превращался в мерную речь с частыми цезурами в виде пауз для сплевывания лушпайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и горничную, паньча и дворника... Характернейшей чертой Десятой станции было то, что все там лужгали «семочки» (никогда и никто у нас

этого слова иначе не произносил), и любили это занятие, и под аккомпанемент его заключали договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную душу и молили о взаимности...

Но опустим эти лупшайско-плебейские подробности. Анна Михайловна обрадовалась приезду знаменитого Альталены и сама повела его по даче – двухэтажной вилле с пристройками, с обширным двором в зарослях акации и сирени, с гамаками, площадкой для крокета и спуском к морю. По случаю последнего теплого октябрьского воскресенья на даче оказалось полно гостей – студенты, экстерны⁵ с галстуками в крахмальных воротничках, молодые журналисты, одинаковые мать и дочь Нюра с Нютой, двое белоподкладочников⁶, дальний племянник Анны Михайловны двадцативосьмилетний фармацевт из Овидиополя по имени Самойло Козодой, все тот же усатый, в морском кителе, офицер Алексей Руницкий и даже Лазарь Кармен.

Огненно-рыжая Маруся была, конечно, в центре гостей. Без всяких попыток «занимать», – вдруг подумал Владимир, – одним внутренним магнетизмом она держит их вокруг себя, как солнце держит планеты всей своей Солнечной системы. И похоже, от ее присутствия им всем тут уютно и весело, все как-то легко смеются и чувствуют себя как дома.

Но стоп! Он не должен снова поддаться чарам этой красотки! Он не станет еще одним Плутоном или Ураном в ее системе! Ведь вся ее «сдобная» красота, и дерзкое остроумие, и сексуально-низкий голос – все служит одной цели: постоянно купаться в мужском обожании и каждого встречного вербовать в ряды своих обожателей...

Впрочем, есть тут и экстерн поодаль от Марусиной компании. Одетый в темную «горьковскую» косоворотку марксиста-анархиста, он и Марусина младшая сестра Лика – холодная, вызывающе дурно одетая и непричесанная – сидят поодаль и волками смотрят на всех присутствующих...

А в тенистой беседке, поодаль от молодежи, хозяин дома Игнац Альбертович играет в карты с пожилыми хлеботорговцами.

– Хлебники, – издала сказала про них Анна Михайловна. – Меж собой братья. Но одного зовут Абрам Моисеевич, а второго Борис Маврикиевич.

– Как же так? Братья? – удивился Владимир.

– Родные братья, – улыбнулась Анна Михайловна. – Просто придумали себе разные отчества, потому что и в характерах разные...

Но и в молодежной компании, и у пожилых картежников разговоры были о том же – за крестьянские бунты не только на Украине, но уже и в Поволжье. В прессе про то не было, конечно, ни слова, но всезнающий Кармен уверенно перечислял губернии, где «красный петух» уже гулял по барским усадьбам: Киевская, Орловская, Черниговская, Курская, Саратовская, Пензенская и Рязанская...

А морской офицер грамотно объяснял:

– Простой народ голодает с прошлогоднего неурожая. Если не дать крестьянам землю – сами возьмут...

Этот Руницкий, явно влюбленный в Марусю, был тут единственный русский, и Жаботинский подумал, что надо и про это написать в «Тоске по патриотизму»: как ни пытаемся мы ассимилироваться в России да обруситься, а ничего из этого никогда не выйдет, и всегда это будет врозь – русские дома для русских, а еврейские для евреев... Кстати, о том же говорила Анна Михайловна, продолжая экскурсию Жаботинского по даче:

⁵ Экстерн – (до революции) студент учебного заведения, живущий на частной квартире.

⁶ Студент из богатой семьи, в мундире на белой подкладке.

– У нас гостеприимство не русское, активно-радушное, «милости просим». А скорее из обряда еврейской Пасхи: «всякий, кому угодно, да придет и ест». Игнац Альбертович, мой супруг, выражает это на языке своего житомирского детства: «А гаст? Мит-н коп ин ванд!..»

– «Гость? Хоть головой об стенку!» – перевел Владимир. – Делай, что хочешь?

Анна Михайловна засмеялась:

– Верно! Вы знаете идиш? А иврит?

– Беру уроки...

– Стало быть, вы таки сионист?

– А разве грешно быть сионистом?

Тут веселая Маруся и тридцатилетний Руницкий с большой компанией гостей поднялись на крытую веранду, где стояло пианино. Было видно, как Маруся попросила Руницкого поиграть, тот сел за пианино и, окруженный молодежью, стал неплохо наигрывать романс «Утро туманное, утро седое...».

Кивнув на эту компанию, Анна Михайловна сказала:

– Маруся называет их «пассажиры». До какой степени интимности они путешествуют, не знаю. А Сережа, мой сын, делает на них эпиграммы. Вот про этого, например, – и показала на одного экстерна: – «Вошел, как бог, надушен бергамотом, а в комнате запахло идиотом».

Владимир рассмеялся:

– Талантливо. А где ваш Сережа? Мне нужно с ним побеседовать...

Неожиданно Маруся выскочила с веранды и, стуча каблучками, подбежала к матери:

– Маман, ухожу в парк на танцы, – и тут же Жаботинскому: – А мы читали ваш перевод «Ворона» из Эдгара По! – и продекламировала: – «Что за муки! Не могла мне глубь науки / Дать забвенья о разлуке с девой сердца моего...» Замечательно! А мне вы напишете стихи?

Владимир усмехнулся:

– «Каркнул Ворон: “Nevermore”».

Анна Михайловна расхохоталась, а Маруся обиделась:

– Вот вы какой! – И, дразня его, сказала матери: – Ладно, побегу переоденусь, невежливо идти в парк с кавалером, но в блузке, которая застегивается сзади.

Владимир шокированно замкнул лицо, а Анна Михайловна нахмурилась:

– Односторонний у тебя стиль, Маруся.

Но Маруся не отступила:

– Успокойтесь, маман. Я знаю границу.

– И докуда она? – спросила мать.

– До диафрагмы! – отрезала Маруся. – Аддио!

И – круто развернувшись, убежала, вновь цокая каблучками.

Вопреки своему зароку не поддаваться отраве влюбленности, Владимир неотрывно смотрел ей вслед – эти загорелые ноги... талия... высокий бюст... взлетающая при беге копна рыжих волос словно искрит под солнцем... И бежит она, как тургеневская барышня к возлюбленному – стремглав бежит к этому Руницкому, который уже ждет ее у калитки...

От этой картины у него даже дыхание пресеклось...

Видя интерес Владимира к дочке, Анна Михайловна на ходу сменила тему:

– Владимир, а откуда у вас этот псевдоним «Альталена»?

Отведя взгляд от Маруси, он с трудом пришел в себя:

– Простите... Что вы сказали?

– «Альталена», ваш газетный псевдоним. Откуда он?

– А... – сообразил Владимир. – Недоучившись в гимназии, я в семнадцать лет уехал в Берн, в университет, а оттуда в Рим – учился на юриста. И дабы было на что жить, писал оттуда в «Одесский листок» и «Северный курьер»...

– Это мы читали, – заметила Анна Михайловна.

– Подписывал «Альталена», по-итальянски «качели», – продолжал он. – Хотя сначала я перевел это как «рычаг»...

– Выходит, сионизма вы там набрались, в Европе?

Владимир рассмеялся:

– Очень вы осторожно выпрашиваете.

– Боюсь, как бы вы не увезли мою дочь в Палестину, – честно призналась Анна Михайловна.

– О, не бойтесь, – ответил он, снова глянув на уже закрывшуюся калитку. – Вы же видите – ей не до иврита...

Но Анна Михайловна была не из тех, кто отступает без боя.

– А вы читали статью Бикермана в «Русском богатстве»?

– О сионизме? – усмехнулся Владимир.

– О том, что с научной точки зрения весь сионизм – это пустые мечтания и утопия, – тут, подойдя к спуску к морю, Анна Михайловна разглядела, как внизу, на берегу, Сережа сталкивал лодку в воду. И закричала:

– Сережа! Сергей! К тебе еще гребец! – И повернулась к Владимиру: – Поспешите. А то уплывет. У него вечно какие-то дела в порту...

10 В море

Семнадцатилетний Сережа оказался одним из тех двух молодых людей, которые прошлой зимой спяну управляли движением извозчиков на перекрестке Ришельевской и Дерибасовской, а точнее, – тем, кто, в ловко сшитом полушубке и с высокой папахой на голове, грозным басом гремел на обе улицы: «Езжай, босява, чего стали!»...

– Компанейский человек ваша мама, – сказал ему Владимир, когда они уже достаточно далеко отгребли от берега.

– Жить можно, – подтвердил Сергей, – *tout à fait potable*, вполне терпимо.

Он прекрасно греб и знал все слова на языке лодочников. «Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер, а именно северный – “трамонтан”». «Затабаньте правым, не то налетим на тот парусный дубок... Смотрите, подохла морская свинья», – при этом указывая пальцем на тушу дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от маяка.

Жабо, как журналист от бога, умел так слушать собеседника, что любой встречный открывался ему с первых минут знакомства. И в промежутках между мореходными замечаниями Сережа дал ему много отрывочных сведений о своей семье. Отец, говорил он, каждое утро «жарит по конке в контору». По вечерам дома «толчок» (то есть толкучий рынок): это к старшей сестре приходят «ее пассажиры», все больше студенты. Есть еще братья Марко и Торик, Марко человек ничего себе, но «тюньтя», вроде ротозея. «В этом году он ницшеанец». Сережа про него сочинил такие стихи:

Штаны с дырой, зато в идеях модник,
Ученый муж и трижды второгодник.

– Это у нас дома, – прибавил он, – моя специальность. Маруся требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.

Сестра Лика «догрызла последние ногти и теперь скучает и злится на всю Одессу».

Про ее гостя в косоворотке Сережин отзыв гласил: «Бог знает, как одет, нечисто выбрит – того и глядь, он что-нибудь да стибрит»...

А моложе всех Торик, но он «опора престола»: обо всем «судит так правильно, что скинуть можно».

К маяку Жабо и Сережа попали так: Сережа вспомнил, что теперь у Андросовского мола полно шаланд из Херсона – везут последние монастырские кавуны- арбузы.

– Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.

И они «подались» в порт, обогнув маяк.

К пристани пришлось пробираться среди дубков, словно в базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и Сережа знал, что есть дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять названий. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных арбузами, раза три его окликнули ласково:

– Ого, Сирожка, ты куды? Как живется?

На что он неизменно отвечал:

– Скандибобером! – то есть, судя по тону, отлично живется.

У пристани он, строго отказав Владимиру в разрешении внести свой пай на расходы, сбегал куда-то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке, окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, они совершили уникально вкусную трапезу. Но еще слаще еды было любоваться Владимиру на то, как ел Сережа. Бублик с кунжутом Сережа не сломал, а

разрезал по экватору на два кольца, соскреб с наружной глянцевитой поверхности кунжутные семечки, затем смазал внутренние поверхности бублика салом и посыпал их теми же семечками, опять сложил обе половинки и только тогда впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив Владимиру: «шкура так легче слазит». Но высшей вершиной обряда был арбуз. Владимир стал было нарезать его ломтями, Сережа торопливо сказал: «для меня не надо». Он взял целую четвертушку арбуза, подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, и – всем лицом зарылся в купольно-арбузной четвертушке, теперь пред Владимиром сидела фигура с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть взяла Жабо: утонуть, как Сережа, в арбузе – все равно, что заплыть перед вечером далеко в морское затишье, лечь на спину и забыть обо всем. Подавшись зависти, Владимир схватил вторую четвертушку и тоже распрошался с землей.

Тут вдоль дебаркадера вдруг побежали мальчишки-разносчики газет, крича на ходу:

– Покупайте «Одесские новости»! Годовщина восшествия на престол Государя Императора Николая Александровича! Дерзкая кража в порту и новый фельетон Альталены за сионизм! Покупайте «Одесские новости»! Альталена за сионизм!..

Портовая публика бойко покупала газеты, и Владимир вспомнил, зачем он поплыл с Сережей:

– Друг мой, есть разговор.

– Дуйте! – разрешил Сережа.

– Слушайте и не перебивайте. В городе завелась компания картежных шулеров, работают в трактирах у Фруктового пассажа и в кафе рядом с Бульварной лестницей, чистят заезжих купцов и туристов. Вы знаете про это?

Сережа сделал наивные глаза:

– А в чем дело? Почему нельзя обыграть богатого типа?

Но Владимир продолжал жестким тоном:

– Вы метафизику бросьте. Я вас спрашиваю: работаете вы с этой компанией или нет?

– Надо правду сказать?

– Всю!

– Так вот: я, пока что, больше присматриваюсь. Раза три уже дулся в банчок в одном доме, но мне так везло, просто тьфу через плечо!

– К чему присматриваетесь?

– До хлопцев присматриваюсь и до техники. Хлопцы обворожительные, Маруся бы каждого мигом забрала в «пассажиры», только я их до Маруси не подпущу. Зато техника у них – палеолитическая. Я куды ловчее. Смотрите!

Наклонившись, он сунул руку Владимиру за пазуху и оттуда, двумя пальчиками, за кончик, извлек червонную даму.

– Сережа, – сказал Владимир, сдерживая бешенство, – дайте мне сейчас же честное слово, что бросите и эту компанию, и все это дело. Вы уже попали к репортерам на зубок, еще хоть раз заметят вас с картежниками – и все, ваше имя в газете! Чего вы хотите? Осрамить отца и мать на всю Одессу?

Сергей посмотрел на него пристально.

– Эк вы волнуетесь, – сказал он с искренним удивлением, ясно было, что он взаправду не видит, из-за чего тут горячиться. – Ладно, отошьюсь, жаль огорчать хорошего мужчину, хоть это вы и действуете против свободы личности, а потому реакционно. ОтшилсЯ, баста. И насчет предков вы правы: нехай отдохнут от семейных удовольствий.

Какие «семейные удовольствия» Сережа имел в виду, Жаботинский тогда не понял, но поверил ему. Да и после коллега Трецек подтвердил, что Сережа «отшилсЯ».

11

Газета «Одесские новости»

«О СИОНИЗМЕ»

Статья г-на И. Бикермана в «Русском богатстве» (1902, № 7) произвела большое впечатление.

– О! – слышатся мнения. – Это опыт настоящей научной оценки сионизма.

– О! – говорят другие. – В этой статье научно доказано, что сионизм – утопия.

Посмотрим, однако, ближе на эту «научность».

В конце концов, довод против сионизма у нее один:

– Всемирная история, – пишет г-н Бикерман, – не знает случая, когда бы какая-либо группа людей – род, племя, народ, орда – вздумала в одно прекрасное утро создать государство, а вздумав, создала бы его. И в древние, и в новые времена государства являлись результатом деятельности человеческих масс, но никогда не служили целью этой деятельности.

То есть:

– Чего до сих пор не бывало, того и впредь быть не может.

То есть:

– Все законы исторического движения нам уже известны, и ничему такому, чего бы мы еще не видели и не предвидели, произойти не полагается.

Я не думаю, чтобы это было научно.

Ни один серьезный теоретик истории не позволит себе категорически заявить, что того, чего до сих пор не бывало, и впредь не будет.

Только самодовольное полужнание, не обязанное дорожить ни достоинством, ни престижем науки, способно изрекать от ее имени такие пророчества...

И – после всего этого – я не вижу в сионизме ничего особенно нового, небывалого, беспримерного.

Примеры массовой эмиграции повторялись и в древнейшие, и в ближайшие времена. Сионизм и предлагает массовую эмиграцию.

Г-н Бикерман упрекает сионистов еще в том, что они пытаются увлечь свой народ по пути наибольшего сопротивления. А это бесплодно, ибо непреодолимый закон природы велит всякой энергии направляться по пути наименьшего сопротивления.

Но тогда почему первые христиане в Риме, или те же евреи на Пиренейском полуострове, или гугеноты во Франции предпочли гонения и эмиграцию вместо того, чтобы тихо и спокойно ассимилироваться, то есть принять веру сильнейшего?

Это – задача для ученых, а не для г-на Бикермана.

Другое дело – чисто практические возражения против сионизма.

Они делаются без претенциозного тона, они вытекают из трезвых соображений здравомыслящих людей:

– Уступит ли Турция Палестину евреям?

– Позволят ли державы?

– Прокормит ли Палестина?

– Способны ли евреи к земледелию?

Это вопросы важные и сложные, и категорически о них ничего нельзя сказать, потому что о будущем никогда ничего уверенно утверждать нельзя. Но, во всяком случае, практических и веских доводов «за» несколько не меньше, чем «против». < ... >

Сделают ли евреи Палестину «страной меда и млека», нет ли, – но, во всяком случае, они сделают ее более оживленной, более культурной и, значит, более доходной областью, чем теперь. < ... >

Для держав нет никакой причины «не допускать». Та часть евреев, которой они могут дорожить и которая оживляет их экономику, – та, вероятно, не поедет в Палестину, потому что ей сносно и в Европе. < ... >

Способны ли евреи к земледелию, способна ли почва Палестины производить злаки в достаточном количестве – ответить можно было бы только с цифрами в руках.

Я могу только напомнить, что в Финляндии есть совершенно голые утесы, куда люди нанесли чернозема и живут плодами этого чернозема.

Приспособиться же, не сразу, конечно, а через два-три поколения, можно ко всему, не только к земледелию.

Особенно евреям, которые давно доказали свое умение приспосабливаться ко всяким, даже самым невероятным условиям существования.

– Сионизм реакционен, он отвлекает евреев от общечеловеческой культурной работы, от заботы об интересах всего человечества.

Странная претензия. Можно быть другом всего человечества, но работать для блага одной народности, потому что благо одной народности есть часть блага человечества. Разве сионизм мечтает оторвать евреев от духовной близости с Европой? Сионизм хочет дать евреям место, где бы они могли поддерживать эту близость, развивать ее, наслаждаться ею, – только не подвергаясь унижениям, не терпя гонений, не рискуя лишиться своей национальной сущности.

Можно спорить против сионизма – находить его неосуществимым или нежелательным.

Но говорить о его реакционности, видеть в его деятелях изменников идеалам общечеловеческого блага – это значит не спорить, а позорить, грубо и легкомысленно позорить мечту, рожденную из страданий еврейского народа, это значит отозваться ругательством на слезную молитву измученного Агасфера и очернить изветом и клеветой его многостолетний заповедный идеал.

Ругайтесь! Идеалы стоят выше изветов и не боятся клеветы.

Альталена

12

Новый редингот

«ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР
НОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
«ЛАДНО»
Пьеса В. ЖАБОТИНСКОГО»

Новенькая красочная афиша висела на стене рядом с портретом Ионы Жаботинского, отца семейства. Под ней, сбоку, ближе к окну, был все тот же маленький письменный стол с книгами: Эдгар По, «Der Judenstaat» Герцля, «Сирано» Ростана, «Сага о Фритьофе» Тегнера, «Конрад Валенрод» Мицкевича, «История евреев с древнейших веков до настоящего времени» Греца, «Земство и самодержавие» Витте, Оскар Уайльд, Габриэле Д'Аннунцио, Ницше, Гауптман, Метерлинк. Тут же газетные гранки, чернильный прибор, узкие листы бумаги, исписанные ровным мелким почерком. На подоконнике стопка газет «Одесские новости», тонкая пачка газетных вырезок – статьи Жаботинского в итальянских «Patria» и «Avanti».

Стоя в одних трусах перед высоким напольным зеркалом, Владимир на голое тело примерял новый черный редингот, стильный удлиненный пиджак, модный в те времена. Мать Хава, или, если угодно, она же Ева Марковна, угольным утюгом гладила ему рубашку. Тамар, старшая сестра (а по-русски Тамара), штопала носок, натянутый на ступку.

– А она там тоже будет? – спросила мать.

– Мама, о чем ты спрашиваешь! – отозвалась Тамара. – Если б ее там не было, он бы нас позвал.

– Тебе не стыдно? – смутился Владимир. – А то я вас не звал!

– Звал, но не очень настойчиво, – ответила сестра (на самом деле ее звали Тамар – «пальма» на иврите).

– А кто она? – спросила Ева Марковна.

– Маруся Мильгром, дочка хлебника, – охотно сообщила ей Тамара. – Он когда-то с папой работал.

– Мильгром? – Ева Марковна подула на угли в утюге. – Так я его помню. Ицхак из Житомира, сын Айзека.

– Он теперь Игнац Альбертович, – сказал Владимир.

– Во как! – Мать подала Владимиру выглаженную рубашку. – Надевай.

Бережно сняв редингот, Владимир надел рубашку. Мать помогла ему застегнуть пуговицы и вдеть запонки в рукава.

Подавая брату заштопанный носок, Тамара заметила:

– Раз уж ты ради премьеры купил редингот, мог бы и носки...

– Ладно тебе! – сказала ей мать и спросила у сына: – Пьеса-то о чем?

– Из студенческой жизни, – ответил он.

– В стихах, – дополнила сестра. – Вчера ночью он ее переписал и главную героиню переименовал в Марусю.

– А ты откуда знаешь? – покраснев, возмутился Владимир. – Читаешь мои рукописи?

– Ты на кухне черновик оставил. Я думала: для меня, – невинно оправдалась Тамара.

– Ладно вам! – сказала мать. – Если в стихах, то Марусе понравится... – И, поцеловав сына в лоб, благословила по-еврейски: – Гот беншон ир!

А сестра напомнила:

– Хотя бы на сцене не выпячивай нижнюю губу...

13

Провал

Есть ли смысл снова описывать Одесский городской театр во всем его золотом и красно-бархатном великолепии? Тем паче, что в зале на полторы тысячи кресел было человек триста зрителей, не больше. Да и те без особого, почему-то, внимания слушали исповедь героини пьесы, которую играла все та же Анна Пасхалова:

Смотри, я без дороги,
Я заблудилась, я в потемках...

Но, в отличие от неукротимой и рискованной Монны Ванны из пьесы Метерлинка, роль «заблудившейся» Маруси в пьесе Альталены была не по ней, и Пасхалова вяло тянула свой монолог:

... От тревоги
Пред этой темнотой мне больно – ведь раздор
Вот здесь, во мне, внутри... давно! И до сих пор
Еще по-прежнему не ясно мне, что можно,
Чего нельзя, что грех, что истинно, что ложно...

Автор, одетый в новый редингот, при модном широком галстуке, с напояженной волнистой шевелюрой, скуласто-темнолицый, с блестящими, как у цыгана, черными глазами стоял в это время за кулисой и смотрел через щель в зал.

Там, в третьем ряду, сидели его друзья и коллеги – Чуковский, Кармен, Трецек, тишайший Осип Инбер, милейший Петр Герцо-Виноградский, он же Лоэнгрин, и даже сам Израиль Хейфец. Наискось от них, в первом ряду, можно было разглядеть элегантного, с короткими усиками, Шломо Зальцмана из «Союза одесских домовладельцев», а во втором – оперного спивуна в расшитой украинской рубашке.

И хотя имя героини пьесы было знакомо почти всем присутствующим (отчего они легко понимали авторские подтексты), не их реакция интересовала Жабо и не их искали в темноте его глаза, когда Маруся-Пасхалова продолжала:

... Я сомневаюсь. Я не знаю, где найти
разгадку и кому отдать себя вести...
Я без дороги.
И за мной – два младших брата...

Вот она! Вот – в четвертом ряду – еще ярче и красивей, чем на «Монне Ванне» и в «Литературке», с какой-то новой прической, в вечернем наряде с оголенными локтями и с передними пуговичками на шелковой кофте, натянутой высокой грудью. Неужто ради него, ради его премьеры?

Нет, ради другого, который сидит с ней рядом. Даже в полумраке зрительного зала Владимир разглядел его – снова этот морской офицер Алексей Руницкий!

Но разве его имел в виду Жабо, когда писал ответный монолог главного героя на Марусин вопрос «чего нельзя, что истинно, что ложно»:

Всем право на себя даровано рождением,

Нет долга ни пред кем. Гонись за наслаждением,
Будь счастлива и верь желанью твоему —
Куда б оно ни бросило, провозгласи:
«Я чту в борьбе моей не долг, не приказанье —
Я праздную мое державное желанье!»

Да, главной темой спектакля была все та же идея фикс юного Жаботинского, которую он излагал недавно в «Литературке»: я царь своей судьбы, я ничем не обязан обществу, а если и буду служить ему, то только по своей воле и своему желанию...

Но слышит ли его эта «котенок в муфте»? Слышит ли, что это он, автор, взывает к ней со сцены словами главного героя:

Что мне, ландыш мой весенний,
До священной отчей тени,
До отчизны, до народа? – я хочу тебя, хочу...
Опьяниться вновь и снова
Лаской взора голубого
И губами вновь приникнуть
К шелковистому плечу!
Что мне слава, гром проклятий?
Я хочу твоих объятий!..
Чтоб тобой насытить душу,
Божьи храмы я разрушу,
Все ограды, все гробницы, все святыни растопчу!
Я хочу тебя, хочу!..

Великолепный тяжелый бордово-красный и весь вытканый серебром и золотом занавес стал медленно спускаться с потолка под жидкие аплодисменты зала.

Директор театра вытолкнул автора на поклон.

Не отводя взгляда от Маруси, Владимир, выпятив нижнюю губу, вышел кланяться и наткнулся на подъемный канат. Он, несомненно, упал бы, если бы Пасхалова не удержала его за руку.

А в партере Маруся, вместе с другими зрителями, хоть и стоя, но с постным лицом вяло аплодировала актерам.

Хозяйским жестом Руницкий взял ее за руку и увел из зала.

Наутро все одесские газеты, даже «Полицейские ведомости», в заголовках своих рецензий наперебой упражнялись обыгрывать название провалившейся пьесы: «НЕЛАДНО», «НЕСКЛАДНО» и т.п.

Но разве это могло идти в сравнение с тем, что Маруся даже с премьеры его пьесы ушла с Руницким?

14

Демонстрация

На первый взгляд это был обычный редакционный день. Как всегда, снизу, из роскошного гастронома Беккеля остро и соблазнительно пахло заморскими пряностями и кулинарным творчеством одесских мясо- и рыбокоптилен. Скучный «передовик» Соколовский скучно правил сообщение базельского корреспондента об открытии Съезда сионистской молодежи. «Съезд открылся сегодня, пятого декабря, в четыре часа вечера, в зале отеля Zum Starehen. Зала декорирована сионистскими флагами и битком набита. Делегатов свыше сорока, из них две женщины-студентки. Гостей свыше ста пятидесяти, преимущественно студенты и студентки из разных университетов городов Западной Европы и России...»

Лео Трецек страдальчески нависал над Осипом Инбером, который приводил в божий вид новости, принесенные Лео из Одесского пароходства. Под стоны Трецека у Инбера получалось вот что:

– «Со значительным опозданием возвратился вчера в одесский порт из крымско-кавказского рейса пароход “Пушкин”. От Ялты и вплоть до самой Одессы движение парохода сильно затруднялось свирепствовавшим на море необычайно резким циклоном...»

– Каким циклоном?! – возмущенно стонал Трецек. – Ураганом! Ураганом!

– Юноша, будьте скромнее... – негромко просил его Инбер и милостиво двигался карандашом дальше: «Над морем, при страшном волнении, все время стояла густая водяная пыль». – Видите, Лео, ваше «страшное волнение» я оставил.

– Памятник вам за это! – сказал Трецек.

– И кружку пива, – попросил Инбер и продолжил: – «В момент приближения “Пушкина” к Севастополю туда вошел и пассажирский пароход “Император Александр II”, который за несколько часов до этого снялся оттуда обычным рейсом в Константинополь, но, отойдя около десяти миль в открытое море, вынужден был возвратиться обратно, так как свирепый шторм и огромнейшая зыбь угрожали совершенно смыть находившихся на борту четыреста пятьдесят пассажиров, партию скота и разный груз...» Скажите, любезный, а можно ли «несовершенно» смыть?

Трецек, нервно закуривая, промолчал, а Инбер, оставив в тексте «совершенно», двинулся дальше:

– «Над самим городом Севастополем ураган в это время действовал с разрушительной силой. С палубы “Пушкина” видны были сорванные ветром и носившиеся по воздуху части крыш больших домов, огромных труб с ваннх заведений и проч. предметов...»

Как видите, в комнатах царила обычная редакционная рутина, никто не выражал Владимиру сочувствий по поводу провала пьесы и, тем паче, мстительных рецензий в конкурирующих изданиях, все делали вид, что этих изданий вообще не существует. Даже Корней Чуковский, друг детства, с которым Владимир ходил в детский сад, индифферентно трудился над анонимной культурной хроникой:

«Из Петербурга нам телеграфируют, что А. С. Суворин предложил г-ну М. Горькому пятьдесят тыс. руб. за пьесу, которую последний предоставил Художественному театру в Москве. Г-н М. Горький с негодованием отверг это предложение... Переданный нам слух о том, что г-н М. Горький сжег свою пьесу, к счастью, оказался вздором. Напротив, великий писатель окончательно ее отделил и читал в Ялте А. П. Чехову, здоровье которого, кстати, не заставляет желать ничего лучшего...»

А вальяжный Петр Титыч Герцо-Виноградский, пыхтя тонкой черной сигарой и поглаживая свои густые мягкие усы, изящно двигал каретку новенького «Ундервуда» и изящно печатал двумя пальцами:

Опыт с дуговым электрическим фонарем

В Московском техническом училище были произведены чрезвычайно интересные опыты с дуговыми электрическими фонарями. Опыты эти приобретают огромное значение ввиду того, что они обнаружили способность дуговых фонарей передавать звуки и даже человеческую речь, точно так же, как передают граммофоны и фонографы. В зале, где находилась публика, среди потолка был подвешен дуговой фонарь. В соседней комнате находился микрофон, соединявшийся с фонарем проволокой. Стоявший в соседней же комнате, неподалеку от микрофона, студент начал читать реферат об этом опыте. Находившаяся в соседнем зале публика отчетливо слышала его речь, передававшуюся при помощи фонаря. Передача речи была настолько удачна, что можно было различить даже тембр голоса и интонацию...»

Сидя за своим столом у окна, не выспавшийся Жаботинский, истерзанный ночной ревностью и театральным фиаско, через силу отрабатывал обязанность ежедневно сдавать Хейфецу новый фельетон:

ВСКОЛЬЗЬ

Разорился на 20 копеек и приобрел книжку г-на М. Полякова «Сионизм и евреи», – писал он на длинной и узкой полоске газетной бумаги. – Г-н Поляков – заклятый враг сионизма, не хуже г-на Бикермана, и большой поклонник «научности», тоже не хуже г-на Бикермана. Причем так же, как и г-н Бикерман, на научное мышление г-н Поляков смотрит преимущественно с той точки зрения, что оно – вещь, мол, дешевая и даже бездарностям доступная. Что и дает ему, г-ну Полякову, ничуть не меньшее, чем г-ну Бикерману, право орудовать научным мышлением от собственной головы, – и, надо ему отдать справедливость, – с не меньшими, чем г-н Бикерман, результатами. Ибо и у г-на Полякова, как и у г-на Бикермана, эта научность целиком выражается в следующей фразе: «Нет! История цивилизованных народов такого “возрождения” народов не ведает».

Глубокомысленный довод, при помощи...

Громкий шум и крики за окнами оторвали всех журналистов от творческого процесса, они подошли к окну. Внизу, на плиточных тротуарах вдоль Дерибасовской цепью и кучками стояли зеваки, а по брусчатой мостовой шла студенческая демонстрация – около сотни юношей, многие в студенческих тужурках, а девицы в шляпах-тарелках, в руках самодельные плакаты и плакатики с надписями «СВОБОДУ!», «ДОЛОЙ ЖАНДАРМОВ!». Это же «СВОБОДУ! СВОБОДУ!» они хором выкрикивали в такт своим шагам, а впереди всех крепкий мужик нес красное знамя с вышитым лозунгом «ДОЛОЙ САМОДЕРЖАВИЕ!».

– Беда! – сказал Осип Инбер.

Жаботинский вопросительно глянул на него.

– Разве сами не видите? – горько усмехнулся Инбер. – Большинство – евреи...

Он хотел что-то добавить, но тут на демонстрацию со всех сторон налетели полчища городских и дворников, понеслись женские вопли, свалка и ужас, мужика с красным флагом повалили на землю и били ногами, появились конные казаки и стали разгонять публику, очищая тротуары копытом и нагайкой. Одна из девиц показалась Жаботинскому знакомой, но он не успел взглянуться – избитых и арестованных демонстрантов погнали в соседнюю полицейскую часть.

- Вот вам и тема для полицейского репортажа, – сказал он Трецеку.
- Не смешите меня, – усмехнулся тот. – Цензор про это и строчки не пропустит.

15

Италия, газета «Avanti!»

РУССКИЕ СТУДЕНТЫ: КТО ОНИ И ЧЕГО ХОТЯТ?

(Перевод с итальянского)

Сегодня русское студенчество поднимается, бунтует...

В связи с этим – два вопроса: почему ввязываются в политику люди, чей долг – учиться? и – чего эти люди хотят?

Те, чей долг учиться, то есть *дети*, бунтуют, потому что *отцы*, безвольное поколение маленьких *гамлетиков*, на бунт неспособны... Народное или рабочее восстание можно задуть, потопив его в крови, тогда как против студентов нельзя применить ничего сильнее нагайки, не рискуя оскандалиться перед всей негодующей Европой. А скандалов у нас боятся больше всего на свете.

Так чего же хотят русские студенты? Они хотят воздуха, хотя бы немного воздуха, потому что порой кажется, что в России вообще нечем дышать. Умственная жизнь кипит, мысль бьет ключом, а во рту – кляп, и все двери закрыты. Русские студенты хотят простора для приложения своих сил, труда на благо страны и недопущения жандармского произвола. Они не требуют слишком многого... Речь идет об устранении придворной камарильи, о полном изменении существующих порядков. О новом правительственном курсе, при котором в России можно было бы дышать. Они хотят воздуха, воздуха и еще раз воздуха, а значит – свободы.

Хотят – и добьются!

Vladimiro Giabotinski

16

Арест и тюрьма

Спустя несколько дней, посреди ночи, когда Тамара еще сидела над тетрадями своих учеников, раздался стук в дверь. Она открыла двери и увидела на ступенях офицера в голубом жандармском мундире, двух полицейских, околоточного надзирателя и дворника Хому в роли понятого.

– Здесь живет Владимир Жаботинский?

– Здесь. Я его сестра.

– Укажите комнату брата.

Тамара с керосиновой лампой в руке прошла по коридору, зашла в комнату Владимира, осторожно разбудила его и прошептала «полиция».

Следом за ней тут же вошел жандармский офицер и один полицейский.

– Мы произведем обыск, – сказал офицер севшему в кровати Владимиру. – Пересядьте на стул. Не двигайтесь и ни к чему не прикасайтесь, – и повернулся к Тамаре: – Вы можете идти. Только лампу оставьте.

Начался обыск. Первым делом полицейский проверил кровать – поднял и прощупал подушку, одеяло и постельное белье, потом перешел к узкому одежному шкафу. А офицер стал молча рыться в книгах и бумагах на письменном столе, книжной полке и подоконнике. Открывал и листал бумаги, читал, не спеша, страницы рукописей и газетные гранки, что-то возвращал на место, а что-то откладывал. Нашел наконец какую-то «запрещенную» брошюру и пачку статей Жаботинского, напечатанных в итальянской газете, и предложил следовать за ним:

– Я получил приказ доставить вас в Крепость. Оденьтесь и захватите постель.

Владимир молча оделся, в коридоре поцеловал маму и сестру. Они не плакали и не жаловались, Ева Марковна тихо сказала на идиш: «Да благословит тебя Господь», и жандармы повезли его в тюрьму.

«Вот и прекрасно! – мстительно думал по дороге Владимир. – В тюрьму! Замечательно! Там тебя будут пытать и бить – ты забудешь эту рыжую бестию! В Крепость! Очень хорошо! Оттуда ты не будешь искать с ней встречи...»

Крепостная тюрьма находилась далеко за городом, позади христианского и еврейского кладбищ, разделенных Водопроводной улицей. Дорогу Владимир скоротал за любезной беседой с околоточным надзирателем, который сказал ему: «Читал я, сударь, ваши статьи, весьма недурственно».

«Одесская крепостная тюрьма помещается в великолепном здании, – пишет Жаботинский в “Повести моих дней”. – Она построена крест-накрест, в четыре этажа, внутренние перекрытия все из цемента и железа. Тогда еще не было в ней электрического освещения, и в камере, куда меня поместили, я нашел маленькую газовую горелку. Я лег и уснул как мертвый. Утром меня разбудили крики со всех сторон и монотонный речитатив, который повторялся без перерыва и без остановки: “Новый сосед – номер пятьдесят два, – подойдите к окну – не бойтесь – мы все друзья – все политические. Новый сосед – номер пятьдесят два...” Не сразу я понял, к кому обращается кричащий, но, в конце концов, вспомнил, что на двери моей камеры я видел номер 52. Окно было высоко, но, подставив стул, я взобрался на широкий подоконник и представился соседям через железную решетку. Мне дали кличку “Лавров”, по имени одного из основоположников русского социалистического движения. “Желябовым” прозвали предыдущего обитателя моей камеры, который был уже в Сибири, и по традиции я должен был унаследовать это имя, но я отказался от этой опасной чести (настоящий Желябов был одним из убийц императора Александра Второго)».

Тут напрашивается пикантная историческая подробность. Дело в том, что «Желябовым», предыдущим обитателем камеры № 52, «который был уже в Сибири», мог быть девятнадцатилетний Лейба Бронштейн, впоследствии Лев Троцкий, совершивший в Петрограде Октябрьский переворот 1917 года⁷ и создавший Красную армию. В 1900 году именно из одесской тюрьмы Лейбу Бронштейна отправили в сибирскую ссылку, откуда он бежал с фальшивым паспортом, взяв себе фамилию одесского старшего тюремного надзирателя Троцкого. «В кармане – паспорт на имя Троцкого, которое я сам наудачу вписал, не предвидя, что оно станет моим именем на всю жизнь», – напишет он в своей биографии.

Впрочем, даже если Жаботинский и не угодил именно в камеру Бронштейна-Троцкого, то оба они, безусловно, сидели в одном и том же корпусе «политических», с теми же соседями, и жандарм по фамилии Троцкий был у них старшим тюремным надзирателем.

Но и это не все!

Вот как Троцкий-Бронштейн описал свое прибытие из херсонской тюрьмы в одесскую:

«...меня перевезли на пароходе в Одессу и там поместили в одиночную тюрьму, построенную за несколько лет перед тем, по последнему слову техники. После Николаева и Херсона одесская одиночка показалась мне идеальным учреждением. Перестукивания, записочки, “телефон”, прямой крик через окна, – служба связи действовала почти непрерывно. Я выступил соседям свои херсонские стихи, они снабжали меня в ответ новостями...»

А Жаботинский пишет об одесской тюрьме еще возвышеннее:

«Семь недель провел я в этой тюрьме, и это одно из самых приятных и дорогих мне воспоминаний. Я полюбил своих соседей, хотя и не видел их лиц. Я поднаторел в “телефоне”. Веревку с грузом на конце вращают за решеткой и в определенный момент отпускают, чтобы она полетела в сторону соседа, чья камера справа, слева или вверху и который должен поймать ее. Таким способом можно передать ему книгу, записку или бумагу... Полюбил я и воров, особенно юношу, который приносил мне борщ и мясо со словами: шампанское! И даже начальника тюрьмы я полюбил, жандармов и стражников: они были вежливы и очень предупредительны с нами, то ли благодаря приказу свыше, то ли вследствие сложного положения в стране...»

Троцкий: «...у нас была очень сложная система, называвшаяся телефоном. Адресат, если его камера была недалеко от моей, навязывал на веревочку тяжелый предмет и приводил этот снаряд во вращательное движение, высунув руку как можно дальше за решетку окна. Условившись заранее по стуку, я как можно дальше высовывал половую щетку за окно и, когда грузило обматывалось вокруг нее, втягивал щетку к себе и привязывал к концу веревки свою рукопись. Если адресат находился далеко, то передача производилась через ряд посредствующих этапов...»

Жаботинский: «Я узнал также клички своих соседей: “Гэд”, “Мирабо”, “Гарибальди”, “Лабори” (в честь адвоката Дрейфуса), моего верхнего соседа прозвали “Саламандра”, нижнего “Селезень”, а один парень с верхнего этажа был “Господом Богом”. Через сутки я уже знал наперечет истории большинства заключенных и их общественные обязанности в тюрьме. Половину из них посадили месяцем раньше за демонстрацию с красным флагом на Дерибасовской: “Гарибальди”, столяр с Молдаванки, нес знамя и был смертельно избит во дворе полиции, о чем он рассказывал с очень веселым смехом. Некоторые были ветеранами движения, в частности “Мирабо”, душа общества, неизменный председатель всех «собраний», верховный арбитр в спорах по любому вопросу марксистского учения, – Абрам Гинзбург, инженер из

⁷ 7 ноября 1917 года, в день своего тридцативосьмилетия, Лев Троцкий (Бронштейн), будучи председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, совершил государственный переворот и через несколько дней передал власть большевикам. Что спустя год собственноручно подтвердил Сталин, написав: «Вся работа по практической организации восстановления проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета т. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому».

Литвы... Лица его я не видел ни разу, но изо дня в день, семь недель подряд, я слышал его голос, когда он вел, расположившись на подоконнике, наше самоуправление, спокойно, тактично и уверенно».

Троцкий: «Первые месяцы пребывания в одесской тюрьме я не получал книг извне и вынужден был довольствоваться тюремной библиотекой. Она состояла главным образом из консервативно-исторических и религиозных журналов. Я штудировал их с неутомимой жадностью... Христианское сознание, читал я в “Православном обозрении”, любит истинные науки, и в том числе естествознание, как умственную родственницу веры. Чудо с ослицей Валаама, вступившей в дискуссию с пророком, не может быть опровергнуто с научной точки зрения: “Ведь существуют же говорящие попугаи и даже канарейки”. Этот довод архиепископа Никанора занимал меня целыми днями и иногда снился даже по ночам... Пространное изыскание о рае, об его внутреннем устройстве и о месте нахождения заканчивалось меланхолической нотой: “Точных указаний о месте нахождения рая нет”. Я повторял эту фразу за обедом, за чаем и на прогулке...»

Отголоски мировых событий доходили до нас в виде осколков... К нам однажды проник слух, что во Франции произошел переворот и восстановлена королевская власть. Мы были охвачены чувством несмываемого позора. Жандармы бегали в беспокойстве по железным коридорам и лестницам, чтоб унять стук и крики. Они думали, что нам снова дали несвежий обед. Нет, политический флигель тюрьмы бурно протестовал против реставрации монархии во Франции...»

Жаботинский: «Проводились и демонстрации. Первого мая. Те, у кого были деньги, покупали в тюремном ларьке какой-то особый сорт табака. Табак был форменная отравка, но продавался он в красных бумажных пачках. Красную оберточную бумагу распределяли между всеми обитателями политического отделения. Вечером залепливали ею стекла ламп, а лампы выставляли в окнах, и гуляющие, которые ехали конкой к “Фонтану”, видели издали красное освещение и аплодировали. Хотя, возможно, и не аплодировали, ибо первого мая еще нет дачников. Но если уж выбирать между “действительностью” и легендой, то лучше верить в легенду».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.